



Борис ХАЗАНОВ

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ ХАОС

Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Борис Хазанов

Просветленный хаос (тетраптих)

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Хазанов Б.

Просветленный хаос (тетраптих) / Б. Хазанов — «Алетейя»,
2017 — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-906980-40-3

«О Русская земля! Уж ты за горами». Вздох безымянного автора «Слова о полку Игореве» должен напомнить читателю этого сочинения о существовании независимой русской словесности за рубежом. Старейший представитель этой словесности, многолетний автор издательства «Алетейя» мобилизует свою память и творческую фантазию, чтобы укротить бессонное прошлое, внести в хаос воспоминаний порядок и смысл. Итогом этой работы становится произведение своеобразного жанра, которое состоит из четырёх частей («книг»), включающих автобиографические, эссеистические, художественные и мировоззренческие тексты. Судьба писателя сплетена единым узлом с историей страны.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906980-40-3

© Хазанов Б., 2017

© Алетейя, 2017

Содержание

Книга первая	6
От автора	6
Интродукция	7
Бывшее будущее, вчерашняя вечность	8
Герой этого времени. Детство Тридцатых	10
Похож на человека	12
Папа. Самфильм. Если завтра война	19
Пансофия	20
Взгляни на иероглиф Маленький роман	22
I	22
II	29
III	38
Книга вторая	46
De solo Amore	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Борис Хазанов

Просветленный хаос (тетраптих)

© Б. Хазанов, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

*Неугасимой памяти жены моей Лоры Викторовны Лебедевой-
Файбусович*

Книга первая Пролог. Найти себя

Time present and time past Are both perhaps present in time future, And time future contained in time past. If all time is eternally present All time is unredeemable. What might have been is an abstraction Remaining a perpetual possibility Only in a world of speculation.

T. S. Eliot, Four Quartets Nr 1.

Время настоящее и время прошедшее – Возможно, оба содержатся в будущем. А будущее, было во времени прошедшем. Во всяком случае, если время вечно, с этим ничего не поделаешь. Т.С. Элиот, Четыре квартета, 1.

(Пер. В. Постникова)

Оттого что моя душа осталась юной, мне все время кажется, что мой возраст – это просто роль, которую я играю, а мои старческие немощи и невзгоды – суйфлёр, и он поправляет меня шёпотом всякий раз, когда я отклоняюсь от роли. И тогда я снова, как послушный актёр, захожу в образ и даже испытываю определённую гордость оттого, что исправно играю свою роль. Куда проще было бы стать самим собой, вернуться в юность, – да только вот костюма подходящего нет.

Андре Жид. Дневник (Перевод Б.Х.)

От автора

Я надеюсь, что мне простят манию пережёвывать прошлое, болезнь закатных лет, чьё неоспоримое, хоть и незавидное, преимущество – способность жить одновременно в разных временах.

Я привык поздно ложиться и обычно стараюсь дотянуть до такой степени усталости, когда, улёгшись, тотчас засыпаешь. К несчастью, это удаётся не всегда, ворочаешься, зажигаешь свет, гасишь и вновь зажигаешь, угнетают бесплодные мысли, унылые песни продолговатого мозга, истоптанные дорожки моей литературы. Глаза мои закрываются, и в последующие полтора часа я вижу сны.

Томас Манн (ещё одна цитата!), оглядываясь на Вагнера, в письме сыну называет «Доктора Фаустуса» своим «Парсифалем». Пусть этот Тетраптих остаётся моим собственным Парсифалем.

Мюнхен, 2018

Интродукция

*Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать... свечей...*

... Вот и я тоже. Сижу, твержу про себя дивную эту балладу и дерзостно представляю себя на месте другого изгнанника – Владислава Фелициановича Ходасевича. Комната моя, правда, не круглая, а прямоугольная, для единственного жильца довольно вместительная. Брезжит день, скучное утро сочится в окно. Голос радиодиктора вещает на местном наречии последние известия, всегда одни и те же. Прогноз погоды... Я жду своего часа. В десять – утренний концерт, Шуберт, Большая фортепьянная соната опус 916. Musik ist Zuflucht!. Музыка – это убежище, от слова *убежать*. Zuflucht – от *zuflieden*, *прибежать*. Бежать из России, прибежать в другую страну. Предательская этимология, как всегда. Зато музыка воплощает (и возвращает) утраченный смысл жизни.

И дикая мечта вторгается в помрачённый ум. Не странно ли, вспоминается то, о чём ты помнить не можешь, хоть и уверяешь себя, что так оно и было: молодая женщина, родившая меня, играла эту вещь. Она умерла тридцати трёх лет от эндокардита. От неё остались альбомы нот в твёрдых дореволюционных переплётах, исчерканные моими каракулями, осталось пианино, его давно нет. Пианино старинной германской фирмы Sturzwage, по которому и сейчас бегут её пальцы, а я сижу на полу и смотрю, как нога в туфле с застёгнутой перемычкой нажимает на педаль.

Могла ли моя мама представить себе, что когда-нибудь я стану коротать поздний вечер своей жизни в другом столетии, на другой земле? Узнаёт ли она меня, новоприбывшего, там, в садах за огненной рекой, о которых вспоминает автор «Европейской ночи»?.. С чем, с каким багажом явлюсь я туда? Притащу ли с собой увесистый груз памяти, этот горб, мешавший мне распрямиться? Горб рабской принудительной памяти, с которой приходилось доживать свои дни, которую следует противопоставить уютной произвольной памяти Пруста и девятнадцатого века.

Бывшее будущее, вчерашняя вечность

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Пушкин

Длится, всё ещё длится угрюмое утро, самое тягостное время дня; в который раз я озираюсь в ожидании иных, законнейших обитателей моего жилья, жду, когда они восстанут от электронного сна с первыми кликами компьютера.

Умолк Шуберт, умерший в таком же возрасте, как моя мама. Она опускает крышку инструмента. Я всё ещё здесь, со своим скарбом, в мюнхенской квартире, над моей головой – парижский испанец Хуан Гри, натюрморт с шахматной доской. Однажды в Чикаго я наткнулся на подлинник в Art Institute. Поодаль, на противоположной стене карта Российского государства: было когда-то такое. Отпечатана во времена императрицы Анны Иоанновны, подарок Гарри Просса, покойного друга, журналиста и политического историка послевоенной Германии. Бок-о-бок с антикварной картой ещё кое-что.

Летом 1015 года, по наущению старшего княжича, окаянного Святополка, были злодейски истреблены дети Владимира Борис Ростовский и Глеб Муромский, первые русские святые, и вот они здесь, в княжеских шапках и плащах, верхом на танцующих конях, на лунно-серебристом, ночном фоне взамен золотой византийской вечности. Икона московского письма XV века. А рядом – таинственные пришельцы в гостях у немолодых супругов Авраама и Сарры, еврейские юноши, ветхозаветные ангелы, вечно-женственные, задумчивые, склоняют друг к другу пышные причёски. Живоначальная Троица инока Андрея Рублёва.

* * *

Борхес (в одной из бесед) приводит фразу Уайльда: «Каждое мгновение соединяет в себе то, чем мы были, и то, чем станем; мы – это наше прошлое и будущее одновременно».

Знакомая мысль. У меня в мозгу вмонтирована машина времени. Она позволяет мне жить в разных временах, перемещаться из настоящего в прошлое и возвращаться назад, в призрачную область надежд и ожиданий – будущее. Как уэллсовский Путешественник во времени, я ничего не жду, кроме финала. Машина эта есть не что иное, как безостановочно и своевольно работающая память, и её назначение перенимает литература.

Спрашиваешь себя, не такова ли участь персонажей романиста, обречённых как все мы, жить и умереть, заброшенных в пучину воспоминаний и обманутых мороком несбывшегося будущего. Пытаясь подвести итог долгой жизни – обзревая свою литературу и погружаясь в прошлое, – я как будто разгуливаю по кладбищу моей прозы между надгробьями действующих лиц.

Так – по крайней мере с тех пор, как родина стала чужбиной, а чужбина отгеснила родину, – рождается потребность как бы с высоты птичьего полёта обозреть своё российское прошлое, взглянуть недоверчивым оком на взращённую этим прошлым литературу. Её, быть может, фундаментальный порок очевиден: это слишком литературная литература. Чувствуется преувеличенное значение, придаваемое стилю, даёт себя знать иудейская озабоченность чистотой, прозрачностью, благозвучием языка. Наконец, эта специфическая эмигрантская заносчивость, едва ли не запальчивость, словно хочешь уязвить оставшуюся «там» словесность с её вульгарностью, дурновкусием, инфекцией уличного жаргона, немзыкальностью, точнее, «безмузием» (античная *αμουσία*)... да мало ли чем можно её попрекнуть.

Прав ли ты, однако? Скажут: старческий брюзжащий пуризм, потеря связи с реальностью языка и общества. И всё-таки веришь, утешаешь себя тем, что кое-что сделано. Кое-что,

не правда ли, заслуживает сочувственного внимания: сосредоточенность на человеке, на его подлинной, прикровенной внутренней жизни, уважение к детству, величие отрочества, бремя юности, гипноз женской телесности. И тайная, с трудом скрываемая гордость тобою, одинокий художник, и сострадание – к кому же, не к себе ли самому? С усмешкой, порой презрительной, чтобы не сказать безжалостной, одёргиваешь себя, ибо давно привык самоотжествляться с восставшим из структуралистской смерти Автором, с тем, кто говорит о себе: «я» и перечитывает написанное.

* * *

Но если мы – это наше прошлое, если память изжитого и пережитого постоянно вмешивается в нашу внутреннюю жизнь, так что любая мысль и всякое чувство тянут за собой волоочащийся хвост воспоминаний, – если это так, писателю придётся сопровождать своих героев сквозь все метаморфозы пространства и времени, вместе с ними ковылять из одного времени в другое. Чем я и занимался в некоторых из своих сочинений. Нужны ли примеры?

Прошлое стоит за спиной и похлопывает тебя по плечу, чтобы напомнить о своём присутствии. История одной единственной жизни неисчерпаема; у каждого из нас есть своя античность, своё Средневековье, своё Новое время. Само собой и своя домотканая мифология.

...И вот я отправляюсь в очередное путешествие, пусть это будет возвращением – из Акрополя детства. в века отрочества. Вижу себя, словно в волшебном кристале, таким, каким был когда-то, взбегаю по лестнице чёрного хода и стою у окна верхнего этажа с зеркальцем в руке, и целюсь порхающим лучом там внизу в девочку, героиню моего романа о старом доме с двором в центре Москвы, у Красных ворот.

Таков был наш дом – Нагльфар исландской Младшей Эдды, корабль, построенный из ногтей мертвецов. Однажды он сорвётся с якоря, и наступит конец света – Рагнарёк.

Я застаю время остановившимся не только в прослоенной мифами памяти, но и в реальной действительности. Близится финал истории, девочка, внучка деда-каббалиста и дочь бесследно исчезнувшего отца, хулиганка и бунтовщица, дух революции, исчерпавший себя, предвестница большой войны, приносит гибель моему герою, в которого она влюблена, красавцу-пустоцвету Толе Бахтыреву. Немецкая переводчица усмотрела в доме моего детства трехъярусную средневековую модель мира. Высоко под небом, на чердаке, прячется 13-летняя Люба, дочь убитого в Тридцать седьмом и, следовательно, никогда не существовавшего отца. В подвале, как в преисподней, обитает её еврейский дедушка, между верхом и низом, раем и адом – чистилище этажей, где ютится в затхлых полутёмных квартирах, карабкается по грязным лестницам человечество жильцов.

Герой этого времени. Детство Тридцатых

Подросток, по фамилии Казаков, по прозвищу Казак, незабываемая, личность (я бы назвал его: малолетний Ставрогин), излучал демоническое очарование, покорял самоуверенностью, таинственностью, инстинктом власти. Одним своим появлением он вселял в душу суеверный страх и ожидание опасности. Кто он был такой? Казак проживал в нашем переулке, но где, в каком доме, никто не знал, он заходил к нам во двор неизвестно зачем, но мы-то знали – чтобы вкусить сладость победного превосходства, покуражиться, поиздеваться над нами. Как и нам, ему было 10–11 лет, что-то было в его лице, в хищном взгляде – он искал жертву; пожалуй, он был красив, но какой-то отталкивающей красотой; был не столько силён физически, сколько ловок и отважен; демонстрировал презрение к опасности, ко всем нам и нашей трусости, пообезьянни взбирался вверх по пожарной лестнице, – в этом ещё не было ничего особенного, мы все это умели; но, перехватив цепкими худыми руками железную перекладину, соединявшую лестницу со стеной дома на уровне высокого второго этажа, он передвигался по ней, перебирая ладонями, не ведая страха, легко подтягивался, как на турнике, извивался и болтал ногами в пустоте, возвращался к лестнице к всеобщему облегчению, спускался вниз и спрыгивал с победным видом. Благодаря таким упражнениям авторитет Казака возрастал неимоверно. Но этого было мало. Он мог, изловчившись, схватить свою жертву за нос и потащить за собой, уверенный, что не встретит сопротивления, неожиданно мог сбить с ног, подставив ножку, в суверенном сознании своего превосходства, наградить любого постыдным прозвищем... После чего вдруг исчезал.

Мир отрочества, словно кривое зеркало в Аллее смеха в Парке культуры и отдыха имени Горького, отражал мир взрослых. Догадывались ли мы, что наше едва проклюнувшееся будущее должно было совпасть с эпохой, чьим лозунгом было насилие, опознавательным знаком – садизм? Сопляки, мы знать не знали о том, что уже стало известно взрослым, о заговоре молчания, о тайне, глухой и зловещей, о том, что судьбу всех и каждого в нашей самой счастливой стране решал восславляемый всем народом карлик, решало глубоко засекреченное, разветвлённое ведомство, пополнявшее свои ряды садистами и палачами. Чего доброго, и наш друг-враг, герой и злой гений Юрка Казак, доживи мы все до взрослых лет, стал бы «сотрудником» – оборотнем с неподвижным хрустальным взглядом в долгополой шинели, в фуражке с голубым околышем, и звёздочками на воротнике. Он был буквально создан для этого будущего. Я говорю: друг, и в самом деле, Казак питал к нам особую привязанность, нуждался в нас, как проголодавшийся хищник нуждается в добыче.

Будущее откармливало для себя кровавую пищу. Оно готовилось к тому, что произойдёт, и уже намечало себе задачу и высшую цель. Поколение мальчиков, следующее после нас, подрастало для того, чтобы погибнуть на войне. Ожидание большой войны насытило воздух эпохи. Какофония века уже звучала, неслышная для нас. Уже были написаны варварски-радостные, дышащие фашистским оптимизмом *Carmina burana* Карла Орфа, уже гроыхали, отбивая шаг коваными солдатскими башмаками-калигами по Аппиевой дороге под зовы римских военных букцин, победоносные легионы Цезаря в заключительных тактах симфонической поэмы «Пинии Рима» Отторино Респиги, написана Первая, посвящённая Октябрю победительная симфония юного Дмитрия Шостаковича.

Радио пело, гремело, хрипело в картонном рупоре на шкафу, и я слышу его сейчас, сторбленный под тяжестью омерзительного прошлого, – и маршировало, размахивая руками: если завтра война... малой кровью, могучим ударом.

Мы не чуяли трупного запаха. Не догадывались, что растём на необозримых кладбищах Гражданской войны и новейшей истребительной кампании – коллективизации сельского хозяйства. Насилие и садизм стали исторической эмблемой эпохи, подобно тому как они пра-

вили бал в переулках нашего детства. Ходить одному здесь было опасно. Здесь бушевала фашистская революция подростков: весь район кишел малолетними палачами-истязателями, вечно чего-то ищущими, похожими на грызунов, озабоченно сопящими от непросыхающего насморка, харкающими вокруг себя комками зеленоватой слизи.

Школа 30-х годов была кошмаром. В каждом классе сидели на задних партах, свистели и визжали, изрыгали грязную брань, целились из рогаток и отплёвывались дети-бандиты, вечные второгодники, которых сплавляли, спасаясь от них, из школы в другую школу, а оттуда ещё куда-нибудь по соседству. Грозой терроризированных педагогов был дракон по имени Семёнов, омерзительная личность, отпрыск криминальных родителей, с жёлтыми масляными глазами дикой кошки, с хлюпающим носом и мокрыми губами; но и он был не один, у него была своя клиентела – подражатели и подчинённые; вся эта нечисть сбивалась в стаи, кто-то однажды вышиб из рук портфель, когда я поднимался по лестнице, – был такой случай, – наклонился поднять и получил удар носком ботинка в лицо, кости носа были сломаны, и кровь ручьём лила на ступеньки. Меня отвели домой, на другой день я предстал перед врачом, который вправил мне, надавив большим пальцем, скошенную набок переносицу, но недостаточно, и мучительная процедура повторилась. Это была жизнь, была школа Куйбышевского района столицы.

В вестибюле на постаменте из, выкрашенной под мрамор фанеры алебастровый вождь отечески обнимал сидящую у него на коленях девочку узбечку Мамлакат, которая собрала невероятное количество хлопка. Там учительница, которой не давали войти в класс, сидела за исчёрканным мелом столиком перед классом с партами улюлюкающих вырожденков, прикрывая глаза ладонью, чтобы не видели, как она плачет. Там, на перемене в коридоре тебя могли, подкравшись сзади, схватить и повалить на пол, окружить и делать с тобой все, что взбредёт в голову. Это были наследники – внуки и правнуки эпохи великих перемен, грандиозной, растянувшейся на полвека общенациональной катастрофы, превратившей общество в фарш. О, сколько событий происходило в эти годы, освоение полярного Севера, Умберто Нобиле в парадном мундире на воздушном шаре над Северным полюсом, крушение «Челюскина» и высадка пассажиров и команды на лёд, и великий Амундсен, и лётчик Чухновский, однажды посетивший нашу школу, и две экспедиции к Южному полюсу, Амундсена и Скотта, и гибель Скотта, и знаменитые папанинцы на льдине... И первые футбольные матчи, и книга Льва Кассиля «Вратарь республики», и футбол в нашем дворе.

Похож на человека Из архива мертвых лет

«Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, – сказала она, – ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность – это не главное. Есть такая пословица: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, – и она постучала пальцем по его лбу, – вот это главное!»

Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.

Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим ртом, куда он засунул чуть ли не все пальцы, выкатился из подворотни, вслед ему откуда-то донёсся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное – не оглядываться.

Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! – сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. – Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, – сказал парень по кличке Пожарник, – дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, – продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. – Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» – крикнул кто-то. В класс вошла учительница. Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась переключка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.

Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный

комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.

Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрему, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить на вопрос учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» – спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, – закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. – А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, – сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшись, чтобы уйти, – нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.

«Ну дай, – лениво сказал Пожарник, – чего жмотничаешь-то».

Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».

Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.

«Сам уронил, сам и жри», – молвил Пожарник.

С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»

«Да ничего, – сказал бодро Пожарник. – Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».

«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», – произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.

«Ну-ка, – сказал он, – повернись к свету».

Мальчик озираясь.

«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», – задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.

«Ты откуда такой взялся с таким носярой, – продолжал Бацилла, – дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошёл в класс, классная руководительница – это был её урок – уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё место. Похоже было, что девчонки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:

«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что...» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как

обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.

После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте – помнится, её фамилия была Осколкина – сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, – продолжал он, – виноватый сам не сознается, то значит, он трус и недостойн звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», – сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».

«Откуда это ты знаешь», – мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.

«Знаю, – сказала девочка. – Только не скажу».

«Значит, не знаешь».

«А я видела».

«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.

После некоторого молчания она заметила:

«Можешь меня не провожать».

«А я и не собираюсь тебя провожать», – возразил он.

«Я с такими не вожусь».

Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.

«И вообще, – сказала девочка по фамилии Осколкина, – это не метод».

«Что не метод?» – спросил Нос.

«Не метод борьбы», – сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время этой был другой переулок.

В школе продолжалось следствие по делу о Чапаеве, многих вызывали к директору, дошла очередь до него. Директор был мал ростом, казался хилым рядом с могучим завучем, носившим прозвище Гиппопотам, и говорил тихим, ласковым голосом. «Мы знаем, что это не ты, – сказал директор. – Ты этого никогда не сделаешь, мы знаем. И даже больше того, прекрасно знаем, кто совершил этот акт надругательства. И ты, конечно, тоже знаешь. Ведь правда же? Мы знаем, что ты знаешь. Так что никакого секрета ты нам не откроешь, если скажешь, кто он. И никто не будет говорить, что ты наябедничал». – «Это твой долг. Ты обязан сказать», – прибавил басом Гиппопотам. «Андрей Севастьянович, зачем уж так на него насесть. Мы никого силой не заставляем. Хотя можно применить и более строгие меры. Тот, кто отказывается изобличить преступника, тот сам становится соучастником. Так как же? – сказал

директор. – Я жду». Он вздохнул. «Значит, будем играть в молчанку. Ну что ж! Ты сам об этом пожалеешь». Вместо Чапаева никого не повесили, позже, кажется, картина была реставрирована, но память не сохранила подробностей, так или иначе, они уже не имели значения.

Следующий день не принёс ничего нового, его втолкнули в девчачью уборную, не давали выйти, это была сравнительно безобидная выходка. Ясно было, что они напрягают фантазию, чтобы изобрести что-нибудь поинтересней. После уроков его поджидали у ворот. Не надо было выходить, чтобы убедиться, что его ждут, он это знал заранее. Знал, что они дадут пройти мимо, а потом кто-нибудь громко сплюнет, окликнет его ласковым голосом, кто-нибудь скажет удивлённо, как будто только сейчас его заметил: «Паяльник. Не, мужики, бля-буду, это Паяльник!» Он притворится, что никого не видит и не слышит, но перед ним встанет слюнявый гнилоглазый Лёнчик. Ему защипнут нос двумя пальцами и начнут водить взад-вперёд под общий гогот. Потом кто-нибудь сделает вид, что хочет схватить у него между ногами. Расставит два пальца и ткнёт ими, как бы собираясь выколоть глаза. И он уже слышал, как всё кругом ревели и пело:

«Паяльник!»

«Рубильник!»

«Румпель!»

«Руль!»

Почему эта малость имела такое огромное значение? Очевидно, она должна была что-то означать, служила доказательством чего-то. Иногда он тайком гляделся в зеркало, старался увидеть себя в профиль и выпячивал губы, чтобы сделать её незаметней. Он убеждался, что это не малость. Уборщица прогнала его из класса. Мальчик стоял у окна в пустом коридоре. Уборщица прошагала мимо с ведром и шваброй, он дождался, когда она войдёт в учительскую, влез на подоконник и отвернул верхний шпингалет, внизу был школьный двор. Он оглянулся – уборщица стояла в дверях учительской и восхищённо смотрела на него. Он раскинул руки, прыгнул и полетел, сначала над двором, перемахнул через крышу, сделал круг и увидел под собой ворота, там стояли Пожарник, Лёнчик, ещё кто-то, у всех разинуты рты от удивления. Нос парил над школой, внизу собралась толпа; он жалел о том, что не захватил с собой что-нибудь такое, но тут очень кстати оказалось под рукой ведро, принадлежавшее уборщице, и он вылил грязную воду на голову Пожарнику, а сам полетел дальше.

Неожиданно подошла Осколкина – откуда она взялась? – и сказала, что знает, как выйти из школы так, чтобы никто не заметил. Она сама много раз так выходила. Зачем, спросил мальчик.

«Так. Для интереса».

Она добавила:

«Мало ли что. Может, пригодится».

По чёрной лестнице спустились в подвал, всё оказалось очень сложно и очень просто, она нащупала выключатель, с силой толкнула забухшую дверь, они поднялись по крутым ступеньками наверх и неожиданно очутились где-то на задворках; как назывался этот переулочек, сейчас уже невозможно припомнить.

«Можешь не волноваться, – сказал Нос, – я тебя провожать не буду».

«А я и не волнуюсь. Что, испугался?» – спросила она.

«Мне на них наплевать. Я всё равно уйду из школы». Эта мысль внезапно пришла ему в голову, как все замечательные мысли, и он решил обдумать её на свободе, в спокойной обстановке. Но сейчас он подумал, что девчонка смеётся над ним исподтишка, над ним невозможно не смеяться, подумал, что ей будет стыдно, если кто-нибудь их увидит, и сказал:

«Слушай. А чего ты ко мне вяжешься?»

«Дурак. – Она обиделась. – Вовсе я к тебе не вяжусь. На кой ты мне сдался?»

«Так бы сразу и сказала».

«Ему, дураку, помочь хотят, а он...»

«Ну и пошла подальше», – сказал мальчик.

Он вернулся домой позже обычного, а на следующий день заявил матери, что больше не пойдёт в школу.

«Как это так, не пойду?» – возмутилась она.

«А вот так. Не пойду, и всё».

«Пойдёшь, как миленький».

Он презрительно усмехнулся.

«А в чём дело?» – спросила она.

Он ответил: ни в чём.

«Ты от меня что-то скрываешь. Ты знаешь, – спросила она, – что значит быть человеком без образования?»

Нос пожал плечами.

«Ты хочешь мести улице. Хочешь пасти свиней. Ты добиваешься, – сказала мать дрогнувшим голосом, – чтобы я всю ночь не спала, плакала и завтра пошла на работу с головной болью».

На этом разговор прекратился, вечером она увидела, что он делает уроки, и промолчала. Мальчик сидел над тетрадями, но в действительности умел делать несколько дел сразу. Он думал о том, что подвал может пригодиться и вообще этот способ – подарок судьбы. Да, большие идеи приходят в голову внезапно. Его жизнь обрела смысл.

Тщательная конспирация есть закон и залог успеха; все последующие дни он был занят продумыванием подробностей, нужно было предусмотреть все неожиданности. Но тут ему пришла в голову гениальная по своей простоте мысль, что разыскивают лишь того, кто скрывается. Тот, кто действует открыто, не вызывает подозрений. Инстинкт подсказал ему меру необходимого соотношения осторожности и отваги. В школе открылся буфет, мать выдавала ему деньги, но надо было быть последним идиотом, чтобы стоять в очереди, в толпе голодных и галдящих учеников, вообще туда ходить. Не говоря о том, что у тебя могли в любую минуту вышибить из рук завтрак, сбросить на пол тарелку, выхватить из рук бутерброд. Так ему удалось в короткое время скопить достаточную сумму. С плетёной бутылкой он отправился в лавку и закупил необходимое. Расчёт был правильный: никто не обратил на него внимания, когда спокойно и чинно он нёс бутылку – разумеется, не по Кривому, а по тому самому переулку, в котором они тогда оказались с Осколкиной. Накануне решающих событий, на уроке, Нос поглядывал на училку, на других, видел огненнорыжую голову Пожарника, сидевшего впереди на первой парте, как положено второгоднику, и ощущал себя господином жизни и смерти. Тайна вознесла его над всеми. С соседкой он не заговаривал, хотя ему очень хотелось её удивить.

Так и подмывало сказать ей: а вот завтра кое-что увидишь. Нет, – и он сделал бы вид, что раздумывает над окончательным решением, – нет, послезавтра. Она спросила бы с равнодушным видом: что увидишь?

Такое, ответил бы он, что ты никогда в жизни не видела.

Тут она перестала бы притворяться. Что ты задумал? Скажи мне одной! – вскричала бы она.

Сама увидишь.

Нос подумал, что, пожалуй, стоило бы предупредить её в последний момент, но как это сделать? На уроке он отпросился в уборную, чтобы провести последнюю рекогносцировку. Тут он понял, что риск всё же велик. Он засёк время на больших часах, висевших в коридоре, спустился, поднялся, вся операция должна была занять от пяти до семи минут. Когда прозвенел последний звонок, он подошёл к классной руководительнице, держась за щеку, и предупредил, что завтра, наверное, не придёт в школу. Зубной врач положил ему мышьяк, чтобы убить нерв,

но боль становится всё сильнее, он даже не знает, дотерпит ли он до завтра. Она подозрительно взглянула на него, принесёшь, сказала она, справку от доктора.

Жди, думал мальчик, тебе она всё равно уже не понадобится.

Но Осколкину всё-таки надо было предупредить. Он догнал её. «Слушай, – сказал он. – Только поклянись, что никому не скажешь. Клянёшься?»

Она воззрилась на него, сделав круглые глаза.

«Клянёшься?» – спросил Нос.

«И не подумаю, – сказала она презрительно, – чего это я буду клясться».

«Ну, не хочешь, как хочешь».

«Сначала скажи».

«Дура. Это в твоих интересах».

«А в чём дело?»

«Я завтра не приду», – сказал Нос, подумав.

«Ну и что?»

«Мне к зубному надо. Он мне мышьяк положил, сволочь».

Несколько времени шли молча. У поворота она сказала: «Ну, я пошла».

«Ты тоже завтра не приходи», – сказал мальчик.

«Чего это?»

«Я говорю, не приходи, поняла? Сиди дома. Вопросов не задавать».

И он зашагал прочь.

Он расстрелял взбунтовавшуюся команду и приказал сжечь мятежное судно. Дождавшись весны, он вышел на оставшихся трёх кораблях из устья Параны и двинулся на юг, не теряя из виду берег, в уверенности, что найдёт проход к океану, и в самом деле достиг пролива, и дал ему своё имя. И когда, наконец, после долгих блужданий, под неусыпным надзором враждебных плёмен, засевших в ущельях, корабли Фернандо Магеллана прошли сквозь пролив, перед ними открылся спокойный, бескрайний океан.

Мальчик вышел из дому раньше обычного времени, с портфелем и мешком, в котором лежали физкультурные тапочки, во избежание дорожных инцидентов сразу выбрал окольный путь, вышел к Чистым прудам, пересёк трамвайную линию, побродил по дорожкам безлюдного бульвара, несколько позже его можно было увидеть перед особняком латвийского посольства, он стоял, любуясь замысловатым гербом на дверях. Было всё ещё рано. В половине девятого он оказался на задворках, отсюда было слышно, как в школе прозвенел звонок. Ошалелый школьный звонок, одно из худших воспоминаний жизни. Нос прошёл, держась у самой стены, к низкой железной двери и спустился в подвал. Чувство времени руководило им, как если бы в мозгу у него работал хронометр; в восемь часов сорок пять минут он прикрыл за собой дверь подвала и стоял в самодельной маске, которая завязывалась сзади верёвочкой, на площадке перед лестницей, прислушиваясь к звукам наверху. Некто, его направлявший, инстинкт-хронометр, подал сигнал, и тотчас Нос пошёл вверх по ступенькам, держа в одной руке плетёную бутылку, в другой портфель и мешок с тапочками, и выглянул в коридор, после чего сложил свои вещи на пол и облил их. Всё так же спокойно, с ровно и точно работающим механизмом в мозгу, он шёл, наклонив бутылку, по коридору, пока не кончился керосин. С бутылкой нечего было делать, он оставил её на подоконнике. Затем он вернулся к чёрному ходу, вынул заранее приготовленный бумажный жгут, чиркнул спичкой и, швырнув жгут в коридор, бросился вниз по лестнице в подвал, сорвал с лица маску, выскочил наружу, не теряя времени, чтобы не пропустить волшебное зрелище, обогнул квартал; несколько минут спустя он чинно шагнул обычным своим путём со стороны Кривого переулочка к воротам школы.

Тут его постигло великое разочарование. Ничего не было. Ничего не происходило, окна школы блестели на солнце, подъехал с урчанием грузовик, шофёр высунулся из дверцы, кто-то там отворял створы ворот и пререкался с водителем. Издалека слышалась сирена. Нос взгля-

делся и чуть не завопил благим матом от радости: в окнах первого этажа дрожало пламя! Сразу в нескольких окнах, и там, и здесь. Ему хотелось прыгать, плясать. Вместо этого он стоял на тротуаре, на противоположной стороне, и, слегка прищурившись, с каменным лицом наблюдал за происходящим. Горел весь нижний этаж, и, значит, им всем на втором и на третьем уже не спастись. Посыпались стёкла, кто-то выбежал из подъезда, люди металась по двору, красная пожарная машина никак не могла въехать, грузовик толчками выдвигался из ворот, вторая машина стояла посреди переулка, пожарные разматывали шланг. Между тем густой чёрный дым валил из окон второго этажа. Толпа обступила мальчика, он протиснулся вперёд, милиционеры оттесняли зевак с мостовой, вой сирен заставил всех повернуться. В конце переулка из-за угла вывернули ещё две машины. Санитары с носилками проталкивались между людьми в касках и брезентовых робах, чей-то начальственный голос командовал в мегафон. Нос выбрался из толпы. Он шагал, сунув руки в карманы, перешёл трамвайную линию, миновал бульвар, шествовал по Покровке, шёл без всякой цели, глядя перед собой, сумрачный, одинокий, как адмирал, свободный, не нужный никому и ни в ком не нуждающийся.

Папа. Самфильм. Если завтра война

*Если завтра война,
Если завтра в поход,
Если тёмная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную родину встанет.
Полетит самолёт, застрочит пулёмёт,
Загрохочут железные танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдёт,
И помчатся лихие тачанки.*

Вас. Лебедев-Кумач

Утро, я всё ещё в постели, папа стоит на цыпочках, поправляя галстук перед маленьким, в виде сердечка, зеркальцем, вставленным в дверцу шкафа, пьёт чай в соседней комнате и уходит на службу. Я вскакиваю с кровати.

Папа приносит рулоны бумаги – вероятно, обрезки больших типографских рулонов. Я усаживался перед столиком, с которого убирали швейную машину, и рисовал на длинной ленте фильма – производство киностудии «Самфильм». Мог ли я представить себе, что это название предвещает другое самодельное изобретение, Самиздат? Шёл 1938 год, мне было десять лет, мамы уже четыре года не было в живых.

Первый фильм открывался кадром с фирменным изображением кремлёвской башни со звездой, далее, как полагалось, следовала реклама; покупайте соус «Соя Кабуль» и «Соя Восток». Этот соус я никогда не пробовал, его назначение было неизвестно.

Первенец студии был немой фильм на актуальную тему – о будущей войне. В кадре между двумя вертикальными разделительными линиями изображена московская улица. Идут прохожие. На углу дома, похожего на наш дом в Большом Козловском, громкоговоритель. Титры: «Граждане, внимание! Соседняя империя объявила нам войну».

Киностудия выпустила приключенческий фильм «Загадочный портрет» с каким-то путанным сюжетом, который я не помню, а затем, под впечатлением от «Рассказов о Мировой войне», замечательной книги, которая запомнилась на всю жизнь, появилась картина под названием «Верденская мельница» – о многомесячном сражении 1916 года на Западном фронте, которое унесло один миллион солдат, французов и немцев. На стене было вывешено объявление о новом фильме.

К рабочему креслу без спинки подвезан картонный экран с двумя вертикальными прорезями. Режиссёр, он же оператор, сидит на коленях позади, на сиденье кресла и протягивает киноленту через прорези. Перед экраном на стопке толстых книг горит свеча. Свет в комнате потушен, окна занавешены гардинами. Это был кинозал. Зрители – папа и домработница Настя.

Пансофия Из воспоминаний юности

В 1831 году, в первых числах января в Веймаре восьмидесятилетний Гёте завершает последний акт 2-й части «Фауста». Горная и лесистая местность. В ущельях, на уступах скал прячутся кельи святых отшельников. Chorus mysticus, мистический хор, поёт:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan¹.

Пастернак переводит:

Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь – в достижение.
Здесь – заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.

Замечательное переложение. Но, конечно, не передающее глубину и таинственность, и волшебную музыку оригинала.

Всё преходящее есть лишь подобие. В одном из фрагментов Новалиса черты лица сравниваются со строением тела. Адам Кадмон, первочеловек в учении еврейской Каббалы, есть как бы некая партитура или предварение Вселенной. Уподобление человека миру, микрокосма макрокосму, – фундаментальная идея пансофии, или всеобъемлющего знания, о котором грезило позднее Средневековье. Завладеть этим знанием жаждет доктор Фауст.

Я подумал о том, что залогом или общим знаменателем этих сближений является красота. Изумление перед зрелищем совершенства и красоты мироздания, Гармония Мира, как озаглавил свой главный труд Кеплер, – вот что их породило. Однажды мне пришло в голову написать о красоте художественной прозы. С чем её можно сравнить? Будет непростительным упущением – коль скоро мы вторглись в область полуфилософских, полумифологических материй – не упомянуть красоту женщины.

Совершенная проза, идёт ли речь о платоновой, написанной на исходе IV века «Апологии Сократа», о латинской прозе Золотого века и её учениках, французах века Светочей, о «Герое нашего времени», «Пиковой Даме» или «Египетских ночах», о повестях и рассказах Чехова, о Флобере и Борхесе, – не довольно ли этих примеров? – совершенная проза по праву может быть уподоблена женщине, гармонической завершённости её форм и линий – красоте,

¹ «Всё преходящее есть лишь подобие. Всё недосыгаемое здесь становится событием. Всё неопишное содеяно здесь. Вечно-Женственное влечёт нас туда, ввысь».

которая выдаёт безупречный художественный вкус Творца. Музыка совершенной прозы утоляет горечь жизни, скрашивает одиночество и опровергает роковую безысходность хайдеггеровского бытия-к-смерти.

Взгляни на иероглиф Маленький роман

Как океан объемлет шар земной...

I Визит

Нижеследующий рассказ есть, собственно, отчёт о поездке для моих друзей в город детства, и ничего более; постараюсь обойтись без беллетристических украшений, но меня смущает одно обстоятельство, рискующее подорвать доверие к автору. Рассказ этот настолько же объективен, насколько и «субъективен» – именно это, мне кажется, гарантирует его достоверность. Поясню, что я имею в виду.

Стихотворение Тютчева, я думаю, помнят все:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой...

Нам нелегко признать равноправие двух сторон нашего бытия. Пробуждаясь, мы с растущим недоверием провожаем плавающие в мозгу хлопья ночных сновидений, здравый смысл напоминает, что мы вернулись из мира фантазий в реальный мир. Но с тем же правом можно усомниться в приоритете дневной действительности, глядя на неё из бастионов сна. Если мы *отсюда* смотрим на сон как на нечто призрачное, то сон, в свою очередь, взирает на нас *оттуда*, и мнимой оказывается реальность дня.

Мысль эта стара как мир. Что же мешает нам сделать окончательный выбор? Постоянство яви и эфемерность сновидений, отвечает Паскаль. Если бы королю каждую ночь снилось, что он бедный ремесленник, а ремесленнику – что он король, они не сумели бы отличить грёзу от действительности. Если бы философ превратился во сне в махаона, говорит китайская мудрость, а махаону приснилось, что он философ, они не смогли бы решить, кто они на самом деле. Но довольно об этом; перейдём к делу.

Начну с начала, с того момента, когда, пройдя паспортный контроль, я двинулся к выходу и поискал глазами в толпе встречающих человека с картонкой, на которой должно было стоять моё имя. Прошло полчаса, прошёл час. Один за другим приземлялись самолёты, выходили новые пассажиры, сменялись ожидающие, человек с картонкой не появился. Я увидел в этом дурное предзнаменование. Пришлось взять такси. Сумерки сгустились. Ехали сперва довольно быстро, затем, по мере того, как огни столицы обступали нас всё гуще, движение замедлилось, шофёр едва выгребал в потоке машин. Поздно вечером добрались до гостиницы.

Новые впечатления ожидали на каждом шагу. Шутка ли, столько лет я не был в этом городе. Не могу сказать, чтобы я жаждал вернуться: все нити, казалось мне, давно оборваны. Известие было для меня полной неожиданностью. Видите ли, я всегда думал, что для того, чтобы о нас вспомнили, – если это вообще когда-либо произойдёт, – нам надо умереть. Только это условие может подарить моим сочинениям шанс возбудить сочувственный интерес на родине. Я, однако, всё ещё жив. Назавтра предстоит церемония возложения лаврового венка на мою облысевшую голову.

Мальчик потащил наверх мой чемодан. Гостиница, двухэтажное, старое, но перестроенное здание с замысловатой вывеской, находилась в самом сердце города, на улице, чьё название воскрешает память о храме Покрова Богородицы. Смутно помню эту церковь, она была снесена или, по крайней мере, порушена, но сейчас вновь возвышается, отстроенная и расписанная, как палехская шкатулка. Трамвайная линия давно уничтожена. Лялин переулок был рядом, чуть подальше остатки Бульварного кольца пересекали улицу. Направо, если стать лицом к Садовому кольцу, Покровский бульвар; налево – Чистые Пруды; город-палимпсест всё ещё хранил следы старинной планировки.

Внутри моя гостиница оказалась много вместительней, чем показалось снаружи. Путаница лестниц, ведущих то вверх, то вниз, переходов с зеркалами, откуда навстречу поднимается загадочный двойник. Войдя в номер, я сбросил одежду и через несколько минут уже спал.

После завтрака оставалось свободное время, я вышел пройтись. Но разгуливать здесь не так просто. Я очутился в городе, охваченном перманентной лихорадкой. Привычная теснота теперь достигла наивозможной степени. Как и накануне, улицу запрудили машины, угрюмые толпы колыхались на узких тротуарах. Вас могли запросто сбить с ног. Самый воздух содержал, вместе с выхлопными газами, некую субстанцию, от которой кружилась голова и путались мысли. Меня вынесло к бывшему Земляному Валю. Я говорю: бывшему, оттого что здесь мало что можно было узнать. Исчез кинотеатр, исчезли домики и лавчонки моего детства, вместо них воздвиглись многоэтажные сооружения, огромные рекламные щиты зывали к небесам на непонятном языке. Столица, ослепительно новая, напоминала разодетую в пух и прах старуху, у которой под париком спрятаны седые космы, под густым слоем румян – глубокие морщины. Несколько времени погодя я вынырнул в переулке, по которому некогда ходил в школу. Здесь было спокойней. А вот и Юсуповский сад, кованые чугунные листья высокой ограды, сиротливые деревья и причудливый дворец. Большой Козловский – ещё немного пройти, окна нашего дома. Мне пора было возвращаться.

Я устал, рассчитывал прилечь, но зазвонил телефон: за мной приехали. Надо было привыкнуть к тому, что приходится выезжать заблаговременно, движение на проезжих улицах происходит едва ли не со скоростью пешехода. Кажется, в гостинице остановился ещё кто-то, приглашённый участвовать в церемонии. Я попросил дежурную передать, чтобы сопровождающие поднялись ко мне в номер. Как вдруг оказалось, что в комнате я уже не один.

Гость был в широком и бесформенном, балахонообразном пальто, какие сейчас никто не носит, в кепке, надвинутой на лоб, вертикальные борозды прорезали серое лицо, отчего оно как будто сползало вниз. Гость помалкивал, я тоже не нашёлся что сказать. Не ожидая приглашения, он уселся за круглый столик, приблизил лицо к вазе с цветами. Неужели настоящие?

«Если, – возразил я, – вы имеете что-нибудь мне сообщить, то, пожалуйста, покороче. Меня ждут внизу».

«Это я тебя ждал... Ты говоришь мне “вы”?»

Я растерялся: ведь я своего отца помню совсем другим: он не был стар. Он был хорошего роста, я едва доставал ему до пояса. Носил габардиновый плащ и низко, важно надвинутую кепку с большим козырьком. Свою мать я почти не помню. Существовала фотография: мы втроём, я посередине, мне не больше трёх лет. Моя мама часто ездила на гастроли с театром, неделями, даже месяцами её не было дома. Я научился не скучать по ней. Однажды она уехала и не вернулась. Мы окончательно остались одни.

Мой отец был молод, высок и красив. Из-под козырька с насмешливой любовью смотрели на меня его зелёные глаза. Таким он отправился на сборный пункт в первую неделю войны; это был последний день – с тех пор я его больше не видел. Как почти всё народное ополчение, спешно созданное и отправленное на фронт, он скорее всего погиб где-нибудь под Вязьмой; вообще же говоря, судьба этого войска осталась неизвестной.

«Мы опаздываем, – он взглянул на часы, – неужели нельзя было вовремя одеться...»

Я надеялся, что отец забудет про бант. Не тут-то было. Мы стояли перед зеркалом в дверце шкафа, он подтянул галстук и нагнулся ко мне, поправить шёлковый, ярко-красный бант, щекотавший подбородок. Ненавистный бант, который делал меня похожим на девочку. Перешли трамвайную линию, папа крепко держал меня за руку, зорко поглядывая по сторонам, и я вспомнил турникет у выхода из Чистопрудного бульвара в Большой Харитоньевский переулок, прогремевшую мимо «аннушку» с буквой А на белом диске головного вагона и собаку, прыгавшую навстречу мне на трёх лапах. Задняя нога была поджата, из неё лилась на булыжную мостовую алая кровь.

Когда мы вошли в невзрачное, как почти все дома на этой улице, здание с табличкой у входа и поднялись по лестнице, вступительные испытания уже начались, в коридоре толпились родители с празднично наряженными детьми. Дверь отворилась, разъярённый папаша, держа за руку испуганную девочку с огромным белым бантом в чёрных волосах, кричал, что он будет жаловаться. Следом вышла полная, очень строгая тётя и назвала мою фамилию. А вы, сказала она моему отцу, видимо, под впечатлением спора с родителем не принятой девочки, посидите в коридоре.

Я стоял перед роялем, вспотевший, мучимый свом бантом, полная дама сыграла одним пальцем короткую фразу, я простучал карандашом по крышке рояля ритм. Снова была сыграна мелодия, я пропел её. После чего наступил главный момент. Я тяжело дышал, неожиданно ласково она сказала: «Ты можешь снять» – и сама распустила мне ленту. Я спел революционную песню:

Заводы, вставайте, шеренги смыкайте,
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружье...

Дама сочувственно кивала, и я вернулся в отель.

Там было тихо, в номере стоял нераспакованный чемодан, на столе телефон; нажав на цифру гостиницы – выход в город, – я позвонил в секретариат премии, чтобы сообщить о своём приезде, после чего спустился перекусить в буфете, прежде чем отправиться на занятия в школу. Я не умел настраивать скрипку, учитель, высокий тощий человек с бабочкой на шее, поворачивал колки, придерживая подбородком мою детскую скрипку-половинку. Я стоял, вознеся это орудие казни, перед пюпитром, по вискам моим катился пот, плечи ныли, рука, державшая гриф, непроизвольно опускалась, стараясь незаметно опереться локтем о грудь; потные пальцы скользили по струнам. То и дело учитель вставал с места, подходил ко мне, похлопывал по спине – выпрямиться, выше локоть, не горбись, не опирайся грифом на ладонь, кисть должна висеть свободно. В другом классе, там, где когда-то происходил приём в музыкальную школу, все сидели за партами, висела доска с нотным станом, дородная дама (та самая) рисовала мелом продолговатые, как миндалины, ноты, и был ещё один зал, где происходили занятия ритмикой. Раздавались команды, рояль стучал и дребезжал, это был Марш военно-воздушных сил: всё выше, и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц; это был Глинка, марш Черномора, там, в облаках перед народом, через леса, через моря колдун несёт богатыря; в одних и тех же небесах – почему бы и нет? – гудя, проносились краснозвёздные стальные птицы и летел злой карлик, и теперь он, держа на весу серебряную бороду, маршировал и приплясывал впереди. Ученики, в спортивных тапочках, трусах и майках, высоко поднимая колени, дефилировали следом за карликом, как вдруг девочка, у которой резинки с застёжками на чулках высывались из-под сатиновых трусов, та самая дочка с бантом в чёрных волосах, которая провалилась на экзамене, но её родители всё же добились своего, – споткнулась и шлёпнулась на пол. Учительница выбежала из-за рояля, хоровод расстроился, девочку подвели к окну,

слезы висели у неё на длинных тёмных ресницах. Я узнал её, она жила в нашем доме, но никогда не выходила играть со всеми во двор; изредка я видел её в окне второго этажа, она следила с завистью за нашей беготнёй.

Черномор отлепил бороду, намотал на скалку и спрятал в портфель. Школа опустела. Черномор устал, что-то прошамкал, ему нужно было успеть на праздник в детский сад, а потом ещё в одну школу.

«Ты ждёшь свою маму?»

Я ответил, что у меня нет мамы.

Он качал головой, поглядывал на меня своими склеротическими еврейскими глазами. Давно пора было возвращаться в гостиницу, мы стояли на тротуаре, пережидая проходивший мимо трамвай, карлик крепко держал меня за руку, он был почти такого же роста, как я. Откуда ты приехал, спросил он, и я чуть было не ответил: из Германии.

«Ниоткуда», – сказал я.

Он продолжал спрашивать: где я живу? Знаю, как же, кивнул он, когда я назвал Большой Козловский переулок. Черномор спешил, но не бросать же меня на середине пути.

«Это страшный город, – сказал он, – опасный город, нельзя одному ходить по улицам». Что он имел в виду: уличное хулиганье или движение транспорта? Очевидно, последнее: как раз в эту минуту, дребезжа, шёл трамвай.

Едва только освободился путь, я вырвался и, не простившись, побежал к вывеске моей гостиницы, куда вошёл уже взрослым человеком.

Вечером, не зная, куда себя деть, я сидел в ресторане отеля, зал постепенно заполнялся людьми; я спросил девушку, подошедшую ко мне, не хочет ли она выпить со мной. Ответом был молчаливый кивок, без всяких церемоний она уселась напротив меня. Её глаза были густо подведены, крошка чёрной краски повисла на ресницах, напомнив мне слезинку на реснице у девочки в музыкальной школе. Я сказал ей об этом. Принесли коньяк. Я сразу догадалась, сказала она.

«Догадалась – о чём?»

«Что это ты. Тебе присудили премию».

«Я думал, – сказал я, – что для того, чтобы стать известным, надо сперва умереть. Может, я и вправду умер? И явился с того света».

Она рассмеялась. Мне понравилась эта тема, я хотел сказать, что и по ту сторону жизни можно видеть сны. Она не слушала.

«А ты меня, я вижу, не узнаёшь!»

Заиграла музыка, люстра метала разноцветные огни, мы вышли из-за стола. Моя партнёрша танцевала профессионально, затуманенными глазами смотрела на меня, время от времени, после резких поворотов, словно бы ненароком прижималась ко мне животом и грудью. Её губы были приоткрыты, свежее дыхание обвевало меня. *Warmädchen*.

«Что это?»

«Девушка в баре».

С прелестной ужимкой, опустив накрашенные ресницы, она сказала, что я могу пригласить её к себе наверх, плата входит в стоимость номера. Всё так же согласно мы двигались в ритме танго. «Только я, – прибавила она, – подошла к тебе не для этого. Помнишь Черномора?»

«Конечно, – сказал я. – Тем более что мы только что виделись... Но ты поразительно молода. Столько лет прошло».

«Это для тебя прошло. А собаку, попавшую под трамвай, а верблюда – помнишь?».

«Я всё помню», – сказал я и чуть было не прибавил: и как твой отец кричал, что будет жаловаться. И чулки на резинках помню. Мы допили коньяк, я оставил на столе чаевые, мы

перешли на ту сторону улицы и миновали музыкальную школу, всё ещё существующую, – «смотри-ка, – проговорил я, – кто идёт!» Мой отец шагал навстречу, держа под мышкой чехол со скрипкой, и рядом бежал мальчик. Отец вёл меня в школу. Вот так же, рассказывал он, шли Бетховен и Гёте по аллее в Бад-Тёплице. А навстречу им двигалась нарядная курортная толпа, знатные дамы и кавалеры, и Гёте, сняв шляпу, стоял сбоку от дороги и раскланивался, а Бетховен, представь себе, надвинул шляпу на лоб, скрестил руки на груди и молча, ни на кого не обращая внимания, прошагал сквозь расступившуюся толпу. Мой отец всегда рассказывал мне о великих композиторах по дороге в школу.

«Они нас не узнали, – пробормотал я, не совсем понимая, кого я имел в виду, – не обращай внимания...». Обогнув рыбный магазин, мы вступили на бульвар. За газонами, по ту сторону ограды, где проложены рельсы, «аннушка» приближалась, громко звоня, чтобы снова не задавить собаку. Я обернулся: один за другим оба вагона, покачиваясь, обогнули бульвар и скрылись в узком проезде на Покровку. Когда-то здесь, сказал я, на месте лодочной станции, цветочных клумб и аллей, знаешь, что было? Пруды, заросшие ряской, и топкий берег в камышах, и назывались эти пруды грязными, пока их не почистили при царе Алексее Михайловиче. И вот прошли столетия, от Чистых прудов остался один пруд, окружённый штакетником.

«Откуда ты всё это знаешь, это тебе твой папаша рассказывал?» – спросила Люда, – теперь я вспомнил, как её звали, она жила в нашем доме, только не выходила никогда во двор. Стояла очередь, к нам приближался, выбрасывая мозолистые ноги с двумя толстыми пальцами, жуя губами, высокий, мохнатый, горбоносый, надменный верблюд, и в корзинах, висевших между горбами, покачивались, как грибы, детские головы. Вожатый с длинной жердью в руках, похожий на дрессировщика в цирке, шёлкнув языком, остановил верблюда, вынимал из корзины каждого пассажира и ставил на землю. Моё сердце колотится от любопытства, нетерпения, счастья, вожатый подхватывает меня под мышки и сажает в корзину, где уже тесно, где рядом со мной, в лёгком пальтишке и капоре, сидит моя ребяческая любовь. И мы отправляемся в странствие по кругу, впереди на длинной отвислой шее невозмутимо покачивается губастая голова с хохлом, вышагивают долгие ноги, – ах, заволновалась моя подружка, меня там, наверное, хватились. Клиенты ждут девушку из бара. Я с негодованием покосился на Люду; она слегка развела руками. Работа как работа.

Мы поплелись назад...

«Только мужской интеллект, опьянённый сексуальным инстинктом, мог назвать красивым этот низкорослый, коротконогий и широкозадый пол...»

«Кто это сказал?»

«Шопенгауэр. Был такой философ».

«Дурак он, твой философ... И потом, у меня вовсе не короткие ноги. Хочешь меня?»

«Но на самом деле, – продолжал я, хотя то, что я собирался сказать, мысль, которая меня преследовала, явно не имела никакой связи с предыдущим, – на самом деле действует закон зеркал».

Людмила криво усмехнулась; кажется, она подумала: чего ради терять с ним время? Я продолжал:

«Ты разглядываешь себя в зеркале, а из зеркала та, другая, смотрит на тебя и думает, что ты – её отражение. Ты вспоминаешь прошлое, а прошлое вспоминает тебя. Видишь сон, а там считают, что ты им снишься... Где тут правда, где обман?»

Её голос донёсся:

«Ты совсем задурил мне голову. Выходит, и я – только сон?»

«Не знаю. Бывают сны наяву. Мы на грани времён. То, что приснилось ночью, кажется нам мнимостью, а сновидением кажется день. Сон может длиться одно мгновение, но это только здесь. Потому что время, вот эта круглая рожа циферблата – всё это существует в дневном мире... В пространстве сна времени нет».

Померкла люстра из фальшивого хрусталя, исчез город за окнами. Лампочки под чёрными колпачками освещали пюпитры и подбородки музыкантов, и огоньки свечей дрожали на столиках гостей; молча, лениво она поднялась, я взял её под руку, и, обогнув тени танцующих, мы прошагали к портьеру. Лестница звала к себе наверх. И снова, как в день моего прибытия, из лабиринта коридоров навстречу поднялся двойник, теперь он был во фраке, с бабочкой на шее, с искусственной розой в петлице, и, опираясь на его руку, рядом ступала поддельная красавица.

Мой номер, чисто прибранный, неузнаваемый; ночник над широкой кроватью, и отражённая в тусклом стекле призрачная пара. Как ты меня находишь, спросила та, что когда-то споткнулась на занятиях ритмикой, сейчас она была без всего, с нагими опущенными руками, с тщательно выбритым причинным местом, и я ответил, что не видел женщин прекрасней.

«Ты хочешь меня? Тогда за чём дело стало. Или ты боишься? Не волнуйся: нас проверят. Медосмотр каждую неделю».

«Воззришь! – Я покосился на Люду. Но её губы были сомкнуты. Голос звучал из зеркала. – Взгляни на этот иероглиф, на эту букву игрек, образованную двумя косыми складками паха и вертикалью сомкнутых ног... У тебя есть шанс, ты можешь его разгадать».

«Да, но после этого ты уже не будешь такой...»

«Э, что за беда. Немного времени пройдёт, загадка восстановится».

«Нет там никакой загадки...»

«А это мы ещё посмотрим!» – сказала она лукаво.

Я возразил: «Но меня всё равно уже не будет».

«Ты собираешься умереть?»

«Я уеду. У меня виза всего на три дня».

«Уедешь, а потом вспомнишь. И вернёшься ко мне».

«У тебя много других...»

«Зачем об этом думать? Мы здесь одни. Думай о том, что будет сейчас».

Она вышла из зеркала и стояла теперь возле кровати.

«Но чем же всё-таки объяснить... – сказал я, уходя от темы. – Чем объяснить, что я состарился, а ты молода и прекрасна?»

«А не надо ничего объяснять. Боишься, что не получится? Это, малыш, зависит от меня. Я тебе помогу. Снимай свои шмотки. Подойди ко мне сзади, обними меня, возьми мои груди в ладони. А! – воскликнула она. – Понимаю. Ты ревнуешь. Но ведь это было очень давно. И вообще, какая разница: сломал целку, не сломал?»

Неожиданная грубость опечалила меня. Я опустил голову. Вот ты и заговорила настоящим своим языком, подумал я.

«Не сердись. Ну, ляпнула, не подумавши... сама не знаю, что говорю. Я не помню. Я его с тех пор больше не видела».

В спальне было тепло, но она озябла, я подал ей халат.

«Я думаю, – проговорила она, – он давно умер».

Это была неправда. Мы стояли все трое, переминаясь с ноги на ногу, возле пожарной лестницы.

Мальчик с серыми, злыми глазами – ещё бы его не узнать! Гибкий, грубый, отважный и наглый. Поплевав на ладони для шика, он полез наверх по ступенькам из арматурных прутьев. Я и сам сколько раз лазал по этой лестнице на крышу нашего дома, но чтобы так riskовать... На высоте второго этажа лестница крепится к стене двумя железными штангами. И вот он придвинулся к краю, левой рукой схватился за перекладину, правой держится за лестницу. «На-ра-ра...» – он там что-то пел и, кажется, даже «Заводы, вставайте», – неужели та самая

песня? Ловким кошачьим движением, изогнувшись, перехватил второй рукой перекладину и повис в пустоте лестницей и стеной дома, болтая ногами, как на турнике. Я взглянул на Люду – в страхе и восторге, открыв рот, она смотрела на него. Героя звали Юрка Казаков, Казак.

Он отодвинулся, перехватывая штангу тонкими руками, ещё дальше от лестницы, подтянулся раз и другой, сиюсь коснуться перекладины подбородком, затем просунул ноги между руками, отпустил руки и повис, качаясь, вниз головой. Я снова покосился на девочку. «Ты! – сказал я. – Ты не спускала с него восхищённых глаз!» – «Ничего не помню», – быстро сказала Людмила. Мы всё ещё стояли в моей комнате с зеркалом, ночником и кроватью.

«Ты не сознавала, что должны были означать эти полуоткрытые губы...».

«По-моему, – отвечала она, – ты просто помешался».

Мы топтались у подножья пожарной лестницы, и теперь я был ещё дальше от неё, ещё безнадежней. Валкой походкой Казак подошёл к ней вплотную. Она не отодвинулась. «Поцелуй меня!» – скомандовал он. Ты не двинулась, ты смотрела и не смотрела на него, полуопустив ресницы. Тогда он схватил тебя за голову и громко, смачно чмокнул в губы.

«А ты чего тут торчишь, – сказал он. – Вали отсюда, у нас свои дела...»

Женщины всегда достаются победителю. Что мне ещё оставалось делать? Они ушли.

Я спросил: где это произошло?

«Что?»

«Это!»

«Ничего не произошло. Не было ничего».

«Нет, было! На лестничной площадке. Где с двух сторон двери квартир, а посередине окно во двор».

«Писатель, – сказала она презрительно. – Выдумал, а потом получишь за это премию».

«Он прижал тебя к подоконнику».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. А потом ты опустилась на пол».

Несколько времени я простоял в задумчивости, потом двинулся за ними. Я шёл на цыпочках, и было совсем тихо. Я поднялся на второй этаж, и там никого не было.

«Вот видишь, – сказала Люда. – Я просто ушла домой».

«Но тебе самой хотелось попробовать».

«Ничего мне не хотелось».

«А он куда делся?»

«Казак? Почём я знаю».

Я крался по лестнице, и внезапно мне всё опостылело; я остановился. Плевал я на них, пусть делают что хотят. Мысленно я произнёс это слово, означавшее, что именно они там делают. Наша квартира находилась в другом подъезде. Пойду сейчас домой и докажу вам всем. Отец на работе, мне никто не мешает. Привяжу верёвку к крюку, на котором висит люстра, встану на стол и спрыгну.

Она меня догнала.

«Тебя зовут к телефону».

Холодно, презрительно я оглядел её с головы до ног и, ничего не сказав, зашагал дальше.

«Тебя к телефону!»

«К какому ещё телефону?»

«К нашему...».

Я не стал спрашивать, кто, и в чём дело, и почему звонят в квартиру, где живёт Люда, коротко бросил: «Да пошла ты...», несколько минут мы шли рядом, и непонятная надежда шевельнулась во мне, я почувствовал, что мне расхотелось кончать жизнь самоубийством. Я повернул голову увидел девочку, и её красота окончательно сразила меня. Дверь чёрного хода

была открыта, мы прошли через коммунальную кухню, в коридоре на стене висел телефонный аппарат, и трубка болталась на проводе. Звонили из гостиницы, мне пора было отправляться на церемонию присуждения литературной премии.

II Костёр

Гости собрались в просторной гостиной, она же музыкальная комната, прекрасный летний день, за окнами всё утопает в зелени. Всё ещё неугасшая традиция домашних концертов. Три пьесы Шуберта D 946, из посмертного, бодрое Allegro assai, в котором слышится затаённая тоска. После музыки закуска и болтовня; я прощаюсь.

Я собрался писать – о чём? Не всё ли равно. Я мечтаю о прозе, свободной, как музыка, от «идей», мне грезится повесть, в которой отменены все правила повествования, вместо этого – каприз прихотливых сцеплений, встречных образов, поворотов, возвращений. Так гребец оставляет вёсла и ложится на дно лодки. И чувствует, как течение уносит его на своей спине. Друг мой, вам это знакомо: усталость от классической прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Но не я ли твердил, что достоинство литературы – в сопротивлении хаосу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в бездну. Горячие от солнца крыши нашего детства: карабкаешься по железной лестнице, добираешься до громающей кровле, до угла, забираешься на брандмауэр соседнего дома и, подойдя к краю, боком, упёршись ногой, заглядываешь вниз. И видишь себя самого, разбившегося, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

Гости собрались в музыкальной комнате, пианист опускает крышку рояля, тут лукавая двусмысленность литературы тотчас даёт себя знать. Хочешь освободиться, ан нет, словесность призывает тебя к порядку. Изволь явиться перед читателем в приличном виде, при галстукке и с розеткой в петлице. Тонкий аромат роз, щебет за окнами и женский щебет; дамы слетаются над пирожными, маленькими глотками отпивают кофе из крошечных чашек. Не вы ли мне внушали, мой друг, что жизнь не нуждается в том, чтобы её упорядочила литература, жизнь существует ради себя самой, её смысл и оправдание – в ней самой. В мире всё есть как есть и всё происходит так, как оно происходит сказал Витгенштейн.

Я мог бы возразить, – если вы ещё способны меня слушать, – что тезис о самоценности есть отрицание ценности, и утверждение, будто смысл нашего существования заключается в нём самом, равнозначно признанию бессмыслицы. Сказать, что жизнь – самоцель, всё равно что сказать: цель жизни – смерть.

Похоже, что в самом деле жизнь, какова она есть, жизнь сама по себе – бессмысленна, как бессмыслен абсурдный мир вокруг. И что тайный импульс нашего существования, двигатель внутреннего сгорания, – это тяга к смерти. Но зато у нас есть литература. Преобразить жизнь, свою или чужую, в нечто такое, в чём мерцает, как костёр в тайге, высший смысл, противопоставить пламенеющее бытие человека непроглядной тьме – не такова ли сверхидея литературы?

Вот вам на первый случай одна идея, вы спросите, какое отношение она имеет к сказанному. Если можно мгновенно перенестись в прохладу московского двора, куда не заглядывает солнце, поставить ногу на ступеньку-перекладину пожарной лестницы и схватиться за верхнюю перекладину, на всю жизнь сохранить в ладонях ощущение шершавого железа, – и вот я лезу вверх, этаж за этажом, выбираюсь на буро-красную, с чешуёй шелушащейся краски, крышу, – если это так просто – передвигать, как попало стрелку часов и лет, то почему бы вовсе не пренебречь временем?

Если можно свободно смешать «события», перетасовать лица и происшествия, – долой каузальность!

Заглянуть, как только что заглядывал в пропасть каменного двора, за кулисы времени, и увидеть себя тогдашнего, и понять, что «теперь» и «тогда» – лишь поручни нашего сознания, что благословение детства в том, что оно игнорирует будущее и не знает прошлого, благословение памяти – что она отменяет грамматику с её парадигмой глагольных времён. Память, не правда ли, – ведь это модель вечности, где всё происходит одновременно.

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно. Память, которая носится от прошлого к настоящему, и снова назад, цепляется за что попало, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, тёмные углы.

Довольно трепаться, присядем на рельсы, помолчим, я устал, возвращаясь из дальнего квартала, путь по шпалам – единственный, по которому можно добраться до лагпункта, но сумеречная даль обманчива, и показались огни. Эшелон приближается к границе. Некто на своей даче-крепости едва успел улечься; ночной человек, он всегда засыпает перед рассветом; половина третьего, ночь накануне летнего солнцестояния, ещё неделю тому назад высокий чин из Народного комиссариата обороны докладывал, что рейх завершил подготовку к вторжению, Розенберг объявил, что буквы СССР в самое близкое время исчезнут с географических карт, – об этом-де сообщает источник, действующий в штабе Люфтваффе. На что карлик с лицом, изрытым оспой, тот, кто сейчас лежит, как труп, на спине, усами кверху, ответил не медля: ложная информация, пошлите ваш источник к е... матери! Близится рассвет, всё ярче огни, и уже подрагивают рельсы, – отскочить прочь, скатиться вниз по насыпи! Навстречу слепящему лобовому прожектору и красной звезде на брюхе локомотива несётся пограничный столб с орлом и свастикой в когтях, протяжный гудок приветствует могущественного соседа, гремят колёса на стыках, пронесли мимо контейнеры с зерном, рефрижераторы с мясными тушами, цистерны с нефтью, занимается заря, дребезжит телефон в комнате дежурного генерала, начальник генштаба требует разбудить «его». И вновь глухой желудочный голос призывает не поддаваться на провокацию. Какая провокация, товарищ С.! – молящий голос генерала, – бомбы сыплются на наши города.

Этого не может быть, и оттого, что не может быть, это происходит. Чёрный рупор на крыше углового здания исторгает счастливую музыку, марш военно-воздушных сил, под который маршировали в музыкальной школе на Покровке, хочется плясать, шагать, махая локтями, всё выше и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц, соседка плачет на кухне, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ! И дальше по крышам, в просвет переулка, на улицу Кирова, рвутся с крыш эти мелодии, если завтра война, если завтра в поход, весёлая, грозная музыка, под которую строем шагают войска, штыки наперевес, летят, отпустив поводья, краснозвёздные конники в суконных будённовских шлемах, шашки наголо, мчатся лихие тачанки, и соседка плачет, и впереди всех, словно фараон на колеснице, вождь с простёртой рукой.

На Берлин! Вероломный враг... Но рабочий класс всех стран на нашей стороне. Пролетариат Германии на нашей стороне. Пусть осенит вас образ наших великих предков, Александра Невского, и кого там ещё... На Чистых прудах лежат на газонах похожие на огромные сардельки аэростаты воздушного заграждения, которым не дано было подняться в воздух, воют сирены – граждане, воздушная тревога, – по тёмному небу мечутся белые струи прожекторов, и ты стоишь, задрав голову, вперяясь, ищешь, когда появится в скрещении лучей летучий чёрный таракан. Взрыв где-то поблизости, кажется, в Машковом переулке упала бомба, ну и что, нам всё нипочём, люди бегут с детьми на руках к полукруглой, как вход в туннель, станции «Красные Ворота», вниз по лестницам, скорее, перед выходом на платформу створы тяжёлых герметических дверей готовы закрыться на случай газовой атаки. Будь готов к противохимической обороне! Будь готов к санитарной обороне. Юные пионеры, будьте готовы! Pioniere, seid

bereit! Ротфронт! Свободу Эрнсту Тельману! Но, как выяснилось, вы что, не слышали: немцы – истонный враг славян. Люди лежат вповалку, у некоторых с собой подушки. Но когда объявлен отбой, почему-то нельзя выйти, толпа бредёт по шпалам в полутёмном туннеле до следующей станции, бригады идут на рассвете по шпалам узкоколейки, конвой спешит с автоматами поперёк груди, впереди вахта производственного оцепления, впереди свет, платформа станции «Кировская», и я вбегаю во двор нашей школы.

Это большой двухэтажный бревенчатый дом, вокруг зелёный луг, не сравнить с каменным московским двором; школьный двор в оккупированном городке, для которого ещё нужно придумать подходящее украинское название, где я стою рядом с генералом Паулюсом, ещё не генерал-фельдмаршалом, мы шуримся от яркого солнца и смеёмся, мы не знаем, что нас ждёт; кто бы подумал, что год окончится катастрофой и гибелью в снегах под Сталинградом.

Бывший капитан вермахта разглядывает старую фотографию. (Подозреваю, что вы мою повесть не читали.) Солнце палит с высот, горят поля пшеницы, ползут вперёд броневые колонны, гранадёры, голые до пояса, стоят в открытых люках, где-то далеко уходит к Дону отступающая Красная Армия, но мы за тысячу километров от фронта; каникулы, школа пуста, я один во всём здании, я поднимаюсь на второй этаж, толкаю дверь библиотеки, я снимаю с полки книгу и ложусь с книгой на стол, забыв обо всём на свете. Второе лето войны, кто мог подумать, что я когда-нибудь о нём напишу, и напишу о том, как я о нём написал; второе лето, раскиданные даты жизни, – что получилось бы, какая составила бы причудливая биография, если бы, собрав места и события, разложить их по-другому, как складывают наугад шарики детской мозаики. Я сижу на полу.

Что делать? В комнате стелется дым. От огня на паркете осталось чёрное пятно, – это наше жильё, коммунальная квартира на первом этаже, Большой Козловский переулок, 3/2, но чур не отвлекаться, ещё далеко до победной музыки из уличных громкоговорителей, до мужественного, как лязганье танковых гусениц, хора: вставай, страна огромная; я сижу на полу среди надоёвших кубиков, рассыпанной мозаики, я раскладываю костёр из спичек. Но когда коробок пустеет и гаснет пламя, ужас – чёрное пятно на паркете, сейчас вернётся Настя, вечером придёт с работы отец. Вечер наступил, никого нет, мы в эвакуации, Настя осталась в Москве, нет и отца, всё народное ополчение сгнуло в лесах между Вязьмой и Смоленском, осталось выжженное чёрное пятно, я придумал затереть его мокрой тряпкой, тёмная полоса маскирует преступление, но предательский дым стелется в комнате, бежать из Москвы от грохота приближающейся армады, от пулемётного стрекотанья мотоциклов, несущихся по дорогам, солнце пылает с небес, горят деревни, горит спичечный костёр на полу, летучее пламя пожирает спелую пшеницу.

Второе лето войны! В клубках пыли, с лязгом и грохотом движутся танковые колонны, гранадёры без шлемов стоят в люках, шагает, горланя песни, пехота. А там – сверкающее лезвие Дона, переправа у Калача, где я никогда не был, но когда-нибудь напишу об этом, и напишу о том, как я это написал, и окажусь в лабиринте зеркал, где мелькает мой Doppelgänger, тот, кто притворился мною. И уже маячит в лиловом мареве заветная цель, виден в цейссовском бинокле раскинувшийся вширь город. Не видать им красавицы Волги, и не пить им из Волги воды!.. Задыхающийся от счастья довоенный голос Любви Орловой...

* * *

Гости собрались в просторной гостиной, летний день за окнами, Klavierstück D 946, рукопись, найденная в бумагах Шуберта, дамы лакомятся пирожными, отпивают из чашечек кофе маленькими глотками, и я бреду по аллее под нависшей листвой, поднимаюсь на насыпь и сижу на рельсах, жду, когда покажется вдали дымок паровоза, когда пронесётся мимо пограничный щит с орлом и свастикой, когда, наконец, я сумею собрать раскатившуюся по полу мозаику

моей жизни. Вот картон с круглыми гнёздами, я выкладываю из цветных шариков узор, глядите-ка что получилось!

И снова музыка, и я всё ещё шагаю по тенистой аллее, не заметив, что дошёл до U-Bahn, станции метрополитена, и очутился в центре города, эскалатор вынес меня на площадь Одеона, – какая встреча! Она там стоит. Моё сердце колыхается, как шар, налитый свинцом, – но как ты здесь очутилась?

Как очутилась... очень просто. Где ты, там и я.

Репейник памяти! Ты заслушался Шуберта, уронив голову, ты погрузился в полусон, сидя на рельсах лагерной одноколейки, зачитался, лёжа на столе библиотекарши в опустевшей сельской школе, впереди осень, я поступлю в седьмой класс, впереди зима, и Шестая армия Паулюса уже похоронена под снегами, сердце моё колотится от предчувствия, я выезжаю из подземелья – слепящее солнце, воскресная толпа, и Нюра стоит в летнем платье с короткими рукавами-фонариками, с полукруглым вырезом на груди, озираясь, неловкая, неуклюжая, немислимо красивая, у входа в Hofgarten.

По-русски – Придворный сад, говорю я; а это, – и показываю на тяжёлый портал с двумя гербами, на башни с баварскими львами – флюгерами, – а это Teatinerkirche, был такой монашеский орден театинцев, холодная, помпезная церковь с гробницами курфюрстов и королей.

Да, это была та самая зима Сталинграда – помнишь, как ты вошла в комнату, и огонёк копилки вздрогнул в чёрном оконном стекле, те самые дни, когда немец захватил почти весь город, сплошные развалины, и река, вся в огне, уже была, вероятно, в нескольких десятках метров, и главнокомандующий сидел со своим штабом в подвале на площади Героев, а тем временем были подтянуты свежие силы, и двойное клещевидное контрнаступление началось, и четверть миллиона солдат Шестой армии и части Четвёртой танковой армии, и остатки двух румынских армий, да ещё венгры, да ещё русские вспомогательные отряды – всё оказалось в кольце, и отчаянный танковый прорыв Манштейна захлебнулся, и ударили сорокоградусные морозы, и свирепый ветер нёсся над половецкой степью. Ты вошла в пальто, накинутом на ночную рубашку, на твоих волосах поблескивал иней, чахлый огонёк заметался на столе. Но как же, девушка, ты оказалась тут, в этом городе?

А ты, спросила она и, вздохнув, вынула кружевной платок из рукава на резинке, да, сказал я, была та первая, ужасно холодная зима, когда русский Бог спохватился и помог отогнать немца, а теперь жаркое лето, весь взмок, пока доплёлся до школы, – каникулы, пусто, прохладно, и я озираю книжные полки в библиотеке, а дивизии вермахта снова рвутся вперёд, уже теперь ясно – к Волге. Откуда ты всё это знаешь, спросила она, ведь об этом ничего не сообщают, и как всё было на самом деле, узнали только теперь. Когда – теперь? Это теперь было всегда, и хочется написать нечто свободное от всех этих «после того как», и понять, что порядок времён – всего лишь грамматика для зубрил. Ты здесь, Нюра, и тебе двадцать лет, вот что главное.

Но что же мы стоим? И мы отправились в тень, свободных столиков нет, я спросил, можно ли подсесть, у одиноко сидящего человека, он кивнул, поднялся и сказал: я ждал вас. «Ты его знаешь?» – спросила она, поглядев ему вслед. Я пожал плечами. Барышня в коротких штанишках, прикрытых фартуком, принесла чаши с мороженым, похожие на башни придворной церкви театинцев, – да, продолжал я, мы привыкли держаться за нить повествования, как Тезей за нить Ариадны, но память не есть воспоминание о прошлом, память – это присутствие. Ты явилась поздним вечером, томит бессонница, нет ли чего-нибудь почитать, на тебе зимнее пальто с узким воротником искусственного меха, накинутое на рубашку; поздно, все спят, и видно, что ты сама только что встала с постели. И ты присела, положив руки на стол, и наклонилась поглядеть, что я там пишу, – или, может быть, сделать вид, что тебя это интересует, – и твои груди поднялись в вырезе рубашки; уловив мой мгновенный взгляд, ты запахнулась. Нравится ли тебе мороженое, не заказать ли ещё одну порцию? Это было инстинктивное движение.

Ты отпрянула от стола. Сознвала ли ты, когда облокотилась о край стола, что я увижу, как они встанут из выреза рубашки? Язычок огня колыхнулся, – там твои плечи и открытая шея в ночном окне, и моё лицо, освещённое снизу, словно лицо преступника, тетрадь с дневником и том Герцена, и как он красуется перед юной Natalie, изображает из себя умудрённого жизнью в письмах из Владимира, и его рассказ в «Былом и думах» о том, как однажды в Москве он вернулся домой на рассвете и дверь ему отворила горничная, и было видно, что она только что встала с постели. Платок наброшен на плечи, она придерживает его спереди, и рука его почти непроизвольно тянется к платку – её грудь обнажена.

О чём ты думала, постучавшись ко мне? Ты знала, что твоя красота, твоя прекрасная неуклюжесть девушки из народа, у которой нет ухажёра, потому что все женихи лежат в подмосковных снегах и в степях Поволжья, и умирают в полевых госпиталях, и околевают в немецком плену, – ты знала, что твоя красота цветёт в эту минуту и ты вся излучаешь невыносимую раздражающую прелесть; ты чувствуешь всю себя, свои бёдра, плечи и руки, тесноту подмышек и тревогу сосков, – почему же ты не решилась?..

Потому что не решился ты.

Но я недоросль, а ты женщина.

У меня ещё никого не было. Война, мужиков не осталось, какая я женщина.

Нет ли что-нибудь почитать? Но тотчас ты почувствовала, что трепет, всколыхнувшийся, как язычок огня, навстречу тебе, – не то повелительное влечение, за которым следует мужской напор, но лишь растерянность, обожание и страх. Боязнь оскорбить твою невинность, – ах ты, Господи, какое там оскорбление. Достаточно одного лёгкого движения, еле заметного порыва навстречу тебе. Право же, было что-то нечестное, что-то против правил – вот так сидеть, и ждать, и поглядывать тускло-влюблёнными глазами, вместо того чтобы встать из-за стола! И ты послушно поднялась бы – пора уходить, свидание окончено! И пальто съехало бы к твоим ногам. И ты стояла бы, как потерянная, не решаясь наклониться и поднять, – стояла в своей рубашке с деревенскими кружевами, зачем ты пришла в рубашке? Не спалось. Завернувшись в платок, накинув пальто, вышла в морозную ночь и, когда возвращалась, скрипя валенками по снегу, из дощатого домика, стоящего на отшибе, помедлила у моего крыльца, оглянулась. Луна, ещё невысокая, залила сугробы и крыши барачков ледяным, мертвенным светом.

Пальто упало к ногам. Твоя тень, переломившись от стены к потолку, приняла в себя мою тень, но нет, запрет действия сидел в тебе, ты должна была не взять, а отдаться. Ты отступила бы – к двери, к кровати? Куда же мы двинемся, пора расплатиться, куда девалась кельнерша в коротких штанишках? Потоп света, жидкое масло зноя низвергается с небес на Придворный сад, на площадь Одеона, глазам больно от блестящего асфальта, сверкают стёкла автомобилей, мечут тусклые молнии львы на башнях и позолоченный циферблат, и чахоточный язычок копилки изнемог на столе в полутёмной комнате, – на кровати спит мой маленький брат, мачеха дежурит в общем корпусе больницы, – ты пришла, Нюра, чтобы всё переиграть, потому что возможное – это кладовая реального, неисчерпаемый ресурс бытия, и вновь постанывает тяжёлая дверь в сених, кто-то тайно стучится в дверь, и ты, в белом с грубыми нитяными кружевами, с кое-как сколотыми ореховыми волосами, придерживаешь у ворота полушубок, но как же нам быть, если кровать занята? И к тому же мы страшно стесняемся.

Но там другая кровать!

Страх! Страх!.. Перед женщиной, перед вторжением судьбы, вдруг явившейся, вставшей во весь рост. Я качаюсь под слабым ветром в океане настоящего, где плывут, как рыбы, видения прошлого, глагольные времена; я чувствую, что грань между «тогда» и «всегда» иллюзорна; в той действительности, которая скрыта от нас, существует другая связь вещей, другое сцепление происшествий, и надо сломать навязанную нам конвенцию прозы, и можно, глядя на спичечный костёр, знать о горящих полях войны, и можно помнить, сидя на перекладине пожар-

ной лестницы, как приоткрылась дверь, как в комнату вступила девушка двадцати лет и волна её прелести всколыхнула оранжевый лепесток огня на столе.

* * *

Тем временем – каким временем?.. – я плетусь по площади, где на мачтах висят поникшие флаги, где бронзовая плита на мостовой извещает о гибели города и новом рождении – есть и у городов своя сансара, – сворачиваю на улицу роскошных витрин, а там другая площадь, и печальная тень курфюрста всё ещё бродит по залам и лестницам дворца, ныне принадлежащего концерну Siemens, и поглядывает из окон на каменный зад коня и себя с простёртой дланью. Похоже, случайно оказавшийся полицейский не станет возражать, если я вскарабкаюсь на постамент, встану под мордой коня, – подумает, что я хочу сфотографироваться. Высоко, и немного кружится голова, как на кромке брандмауэра, откуда виден наш двор, старая снеготаялка и пожарная лестница...

Herr Polizist может не беспокоиться, я умею обращаться с лошадьми. Я стою впереди, но это неправильно, к коню, если он не знает тебя, нужно подходить не спереди и не сзади, а только сбоку, он должен сразу почувствовать в тебе хозяина, не должен пугаться, лошадь нужно окликнуть, с ней нужно разговаривать. Похлопать по шее, это знак приветствия.

Животные наделены изумительным слухом, моя полуслепая Брошка, невысокая блондинка игреневого масти, не успею я войти в конюшню, как уже слышит мои шаги, ждёт, когда я протиснусь в стойло, положу ладони на морду, подтолкну, и лошадь послушно пятится, выбирается задом из закутка; тепер хомут, затянуть супонь, насадить седёлку с металлическим арчаком, слабым пинком заставить поджать живот, затянуть на брюхе чересседельник; после чего привязываем к гужам оглобли, берём оглобли в руки, ведём мою Брошку, правя сзади оглоблями, к вагонке, ставим между лежнями, этим подобием рельс из толстых жердей, и зацепляем оглобли за скобы лесовозного экипажа. Расправить уши между ремешками уздечки, надавить на нижнюю челюсть, и большие жёлтые зубы коня разожмутся – вставить трензель, лошадь чмокает мягкими шершавыми губами, привыкая к металлу, и в углах рта прицепить к кольцам верёвочные вожжи. Я стою на постаменте курфюрста Максимилиана перед грудью коня-гиганта, сняться на память, перед тем, как отправиться в путь.

Слабый визг стальных колёс, усердное киванье большой головой, долгий путь по лежнёвке через болота, мимо куртин, за дровами для зоны, в бывшее оцепление, где гниют бурты невывезенного леса. Снова лагерь, почему лагерь? Я не знаю, я могу лишь пожать плечами. Потому что лагерь был и будет. Странно было бы, родившись в лагерном государстве, не загреметь туда. Поскрипывают повизгивают, катясь по лежням, колёса вагонки, копыта медленно, с опаской вышагивают по шаткому ступняку, и нет предела кладбищу пней, оловянному блеску болот, подъехав к бурту, я ищу место посуше, ищу бересту, спички припрятаны за подкладкой бушлата, я раскладываю костёр, далёкий потомок спичечного пожара на паркете. Лошадь моя стоит, понурившись, спина и грива блестят от измороси, сырая вата облаков застлала горизонт, тускнеет день, всё ярче огонь. И я спокоен, я безмятежен в моём божественном одиночестве, у меня в кармане френчика пропуск бесконвойного – в конце концов, можно и в лагере достичь относительной независимости. Попробуйте представить себе, мой друг, что это значит, когда никто не стоит над душой, нарядчик не обложит матом, бригадир не вытянет дрыном по спине оттого, что плохо работаешь. И этот запах! Идёшь себе вниз по Людвиг-штрассе, тебя несёт воскресная толпа, какое счастье чувствовать себя никому не нужным, счастье быть эмигрантом, счастье быть чужим! Пылает огонь в сырых густеющих сумерках, и я вдыхаю запах костра.

Запах дыма, юности, лагерной отчизны! Запах таёжных костров, стрекочут электропилы, с грохотом, с треском ломающихся сучьев валяются в болотную топь столетние великаны, всё

ещё вздрагивают кроны поверженных деревьев, сучкорубы обрубают ветви, сучкожи волочат их к кострам.

А там эшелон, растянувшийся на полкилометра, весь из глухих безоконных вагонов, так что можно принять его за товарный состав, и в самом деле битком набитый живым товаром, замедляет ход, – прокатился гром столкнувшихся буферов, конвой стоит на насыпи у колёс, я вылезая, и ещё один такой же из другого вагона, почему-то нас только двое, выдернутых из поезда, никто никогда не знает, куда везут, страна большая, сколько бы ни ехали, где бы ни высадили, всё будет Россия, свисток – и лязгнули буфера, покатались вагоны, спецсостав министерства внутренних дел, знаем мы, что это за дела, следует дальше, на север, в неведомые края, секретным маршрутом. И мы плетёмся в наручниках, прикованные друг к другу, проваливаясь где по щиколотку, где по колено в снегу, следом бредёт четвёрка конвоиров, по двое, с автоматами, добираемся до карантинного лагпункта, воскресная толпа влечёт меня мимо роскошного памятника королю Людвигу Баварскому, оруженосцы-пажи ведут под уздцы его лошадь, нигде невозможно быть более одиноким, чем в оборванной, остервенелой толпе, осаждающей барак столовой. В дверях драка, но толпа не даёт упасть, на мне рваная телогрейка б/у «бывшая в употреблении», и при том не раз, уже не раз, и руины ватных штанов, я не мылся второй месяц, сколько-то суток не ел; снаружи, сквозь ветхую ткань своего рубища я сжимаю в кулаке луковицу, хранимую в кармане, я вижу себя в гуще живых насельников моей памяти, театр теней, народец моих сочинений, – где же, спрашивается, граница между грёзой и явью, памятью и литературой, но луковица в кармане штанов – это, знаете ли, гарант подлинности.

И вот я чувствую, как чья-то рука лезет ко мне в карман, сопливый подросток с глазами рыси ищет добраться до луковицы – и, кажется, уже ухватил добычу – я крепко держу луковицу снаружи, в эту минуту мы натываемся на обледенелую ступеньку, толпа втаскивает меня на крыльцо, молча, свирепо, дыша ощеренными ртами, прёт к дверям; откуда несёт аппетитной вонью кислой капусты. У дверей два амбала с продавленными носами; мы у цели, мы почти уже впёрлись, нужно что-то предъявить, доказательство, что ещё не получил миску баланды, не лезешь по второму разу, но у меня ничего нет, у меня еврейская внешность ловкача и обманщика, и кулак-кувалда, сбрасывает меня с крыльца.

Я сижу за столиком уличного кафе на Театинер-штрассе, был такой орден и, кажется, существует до сих пор, хотя ничто на этой улице вывесок и витрин не напоминает о монастыре, никто в праздной толпе не вспоминает о руинах войны, – и я не могу справиться со слабостью, в полутьме добираюсь до барака, где спят на полу, подложив под голову, чтобы не стянули с ног, башмаки-говнодавы, и впервые за долгие месяцы следствия и пути глотаю постыдные слёзы.

* * *

Друг мой, вы готовы уличить меня в подражании знаменитому образцу, но могу вас заверить, я вовсе не собираюсь погрузиться в stream of consciousness, пресловутый поток сознания, этот фальсификат литературы, который нам выдают за подлинник человеческой души; да, и мне бы хотелось добраться до истины, заглянуть за кулисы нашего хронологически упорядоченного мира, – так нет же, язык-диктатор повелевает вернуться на проторённый путь. Границы моего мира, сказал философ, это границы языка. Мы порабощены грамматикой, между тем как истинный мир души – за пределами языка. И всё же, всё же! Остаются голоса, и лица, и запахи, – мелочи жизни, за которые можно уцепиться, остаётся луковица в кармане. Первая жестокая лагерная весна в карантине, прежде чем попадёшь на стационарный лагпункт, залубневшие на морозе штаны, скользкая наледь вокруг колодца, вдвоём с напарником крутишь железную рукоять, вцепившись, изо всех сил, – упустишь, ударит в лоб, собьёт с ног, – тяжело, медленно показывается из сруба плещущая бадья; немного погодя меняешься с чахлым подростком, может быть, и не младше тебя, но он из той породы вечных недорослей уголовного

мира с хлюпающим носом и мокрой верхней губой, с острым крысиным личиком, с глазами голодного грызуна, с дырой во рту на месте выбитых зубов; он становится к напарнику на твоё место, ты тащишь ведро с водой к столовой, выливаешь в бочку Данаид, и назад: оплывший холм колодца, скрипучий вал, и плеск, и цепь, которую подтягивают к себе, скользя на ледяном откосе, и снова с полным ведром к столовой, к железной раковине коммунальной кухни на первом этаже, уставленной столиками жильцов, с полками для кастрюль, с примусами и керосинками; струя хлещет из крана, я поднимаю ведро, – дверь чёрного хода наружу, и мы поливаем асфальт, и двор превратился в каток. Но однажды раздвинулись створы ворот, грузовик с горой угля для котельной втиснулся кузовом вперёд в подворотню, мимо мусорного ящика во двор, отпал задний борт, рабочий в перепачканной робе загребаёт совковой лопатой, сбрасывает уголь на лёд – прощай, наш хоккей!

С иглы стекает весёлая музыка, раздаётся треск из чёрного картонного конуса домашней «зорьки», советский суд приговорил троцкистско-бухаринских извергов к высшей мене, энкаведе привёл приговор к исполнению, советский народ одобрил и приступил к очередным делам, а дел было много, предстояли выборы в Верховный Совет. Глухой желудочный голос звучит из рупора, я, товарищи, не собирался выступать, но наш дорогой Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня на собрание: скажи, говорит, речь. Идут бои на карельском перешейке, Красная Армия штурмует линию Маннергейма, совсем немного осталось до начала большой войны, до писем Герцена к Natalie, до комендантского лагпункта, до конного монумента короля Людвига, сжимая в кармане, как амулет, луковицу, а навстречу беспечная толпа, а навстречу шагает юноша-монах в чёрном плаще с откинутым капюшоном и видит в небе нависший над городом меч возмездия.

Меч Господень, *gladius Dei!* Вот он и опустился на башни церквей и дворцов. Бежим, свернём на улицу Шеллинга, бывшую улицу, в ущелье между двумя грядами руин. Рельсы завалены щебнем. Та самая линия, голубой трамвай, десятый маршрут от площади Одеона в Швабинг, и в вагоне бледная, как мел, Инес Инститорис стреляет в любовника². Меч Господень! Бывшая штаб-квартира партии – над разбитым подъездом всё ещё виден раскрытый орёл с дырой между штанами, где была свастика в венке.

«Не только свастика. Они его кастрировали».

Кто кастрировал?

«Американцы. Прошу прощения, – сказал человек, – вы, кажется, подходили к столику...».

В чём дело, спросил я холодно.

«Я хочу сказать, не вы ли тогда подошли к столику, за которым я сидел. В Придворном саду. Вы были с девушкой».

Допустим; ну и что? У меня нет ни времени, ни охоты разговаривать с первым встречным. Несколько времени мы идём рядом, я крупно шагаю, он семенит, едва поспевая.

«Она удивительно похожа...»

На кого?

«На одну из ваших героинь!»

Мы остановились. «Не валяйте дурака, – сказал я. – И вообще: с какой стати вы ко мне привязались?»

«Я читал. Я читаю все ваши произведения».

«Весьма польщён».

«Мне показалось, что это она и есть».

Мне оставалось только пожать плечами. Я поглядывал на небо.

«Нам надо где-нибудь укрыться».

² Т. Манн, «*Gladius Dei*», «Доктор Фаустус».

Едва только мы успели вбежать под своды сумрачной церкви Святого Людовика, как меч сверкнул над обречённым городом. Небо расколосось. Мы сидим на скамье сбоку от алтаря и слушаем нарастающий шум потопа.

«Это было очень давно, первая любовь. Тебя не удивляет, что...»

«Ничуть, – возразил он. – Память всё может. А, значит, и литература. Литература – это и есть память».

«Ты так думаешь? Кто ты такой?»

В полутьме поблескивают трубы огромного органа, тускло светится готическое окно-розетка над входом, мы одни, ливень снаружи как будто стихает, и мы выходим на широкую паперть под аркой портала. Голубое серебро мостовой, машины несутся, расплёскивая лужи.

«Впрочем, нет. Не всё может».

Я напомнил ему, что меня ждут, домашний концерт, пробормотал я, Шуберт...

«Ничего, подождут. – Он продолжал: – Ты мечтаешь сбросить оковы времени, пространства, ещё чего-то. Это осуществимо, но какой ценой? Ценою смерти своего драгоценного “я”. Парадокс! Мечтал добраться до самых глубин своей личности, а личность-то – ау!».

Сколько-то метров прошагали молча, он спросил, знаком ли я с мескалином.

Нет, но я так и знал.

«Что знал?»

Что без психоделиков дело не обойдётся.

* * *

Погружение началось прежде, чем я успел проглотить снадобье, значит ли это, что я в нём не нуждался? Провожатый коснулся кнопки над неразборчивой фамилией, чей-то голос отозвался из микрофона, отщёлкнулся замок, мы вошли и поднялись по лестнице. Жена моего приятеля стояла в дверях. Похоже, что нас здесь ждали.

Мы сбросили с себя одежду и облачились в шёлковые кимоно. В широком окне стоял летний день. Мы сидели в низких креслах перед столиком друг против друга и слушали музыку, тот самый экспромт Шуберта, op. posth. D 946, в трёх частях. И вновь, ещё до того, как был внесён поднос, на котором стояли старинные серебряные стаканчики и градуированный фиал с дистиллированной водой, и приготовлено питьё, я заметил перемену обстановки: это было не окно, а зеркало, и я видел в нём моё сумрачное отражение. Музыка напомнила о том, что потеряно в жизни, о близкой смерти.

Зачем, спросил я, глядя, как женщина добавляет в сосуд одну за другой несколько капель по виду маслянистой, бесцветной жидкости, следит, как они бесследно растворяются в воде, – зачем это нужно, ведь я и так уже нахожусь по ту сторону. Затем, был ответ, что ты выберешься из клетки, освободишь из заточения твоё “я”.

Музыка смолкла, я держал перед губами, стараясь не расплескать, стаканчик, смотрел на своего визави, ожидая, когда он кивнёт, напиток не имел ни запаха, ни вкуса, я не чувствовал никакого действия, по-прежнему ясно сознавал себя, хотя не стал бы утверждать, что тот, чьё присутствие я сознавал, был я, а не кто-то другой; мне было необыкновенно уютно в мягком, низком кресле, спокойная, по-домашнему одетая женщина неслышно входила, убрала фиал и стаканчики, задёрнула шторы перед зеркалом, я снова спросил: зачем? Так полагается, сказала она, но если вы настаиваете... Завеса упала, и я увидел блестящую гладь стекла, в котором никого не было, не почувствовал никакого разочарования и попытался встать – мне помогли.

А у нас, смеясь сказала она, для вас приготовлен сюрприз!

Он – ибо это был явно кто-то другой – шествовал по коридору, квартира оказалась запутанной, как лабиринт, я толкнулся наугад в дверь, в полутьмной комнате на кровати спал мой маленький брат, на столе горел огонёк, девушка стояла посреди комнаты. Она стояла такой,

какой вышла из рук ваятеля, освещённая сзади, с тёмными кругами глаз, со слабо светящимся нимбом волос, и, значит, недаром я собирал раскатившиеся шарики моей детской мозаики, и не зря гигантский гороскоп звёзд поворачивался и времена сменялись, смешав минувшее с будущим в единое абсолютное время; не зря я заглядывал с кромки брандмауэра в пропасть каменного двора, брёл в толпе бушлатов по шпалам узкоколейки, крутил ручку обледелого колодца и вдыхал неумирающий запах таёжных костров, не зря шагал по улице Людвига и возвращался – чтобы увидеть твои глаза, твои круглые груди, увидеть тебя, Ньюра.

III Сельский врач

Перед рассветом

Когда мы дремлем, уткнувшись лицом в своё ложе, все вместе, мы похожи друг на друга, как дети одной матери, мы все равны, но стоит нам повернуться на спину, и нашему братству приходит конец, мы злобно косимся друг на друга, каждый подозревает соседа в тайных кознях, завидует соседу и готовится к драке. Ведение войны требует союзников, вот почему мы вступаем в коалиции, чтобы вместе ополчиться на врага, но это лишь тактический ход: как только ситуация меняется, мы, не задумываясь, изменяем нашим союзникам. Правила войны выше морали. Всё оправдывает победа.

Ради этой победы хороши все средства: коварство, ложь, подлог, предательство. И того же мы ждём от противника; мы, если угодно, состязаемся в низости; побеждённому нет пощады.

Война требует оснащения. Меч в руке короля – всего лишь декоративная принадлежность, как лилия дамы – часть её туалета; мы дерёмся не мечами. Наше истинное оружие, инструмент борьбы не на жизнь, а на смерть – наше войско – это они: те, кто сидит за столом. Кто думает, что играет нами. Но мы-то знаем, кто есть кто! От них требуется беспрекословное подчинение. Пусть только попробует рука наёмника бросить на стол не ту карту! Мы жестоко караем всякое своеволие. Строптивного игрока доведём до самоубийства.

Разумеется, и я принимаю участие в военных действиях, мои противники, естественно, – другая масть. Несчастье в том, что во вражеском стане находится предмет моего вожделения. Так уж получилось. Но не я одна страдаю по Королю. О, я знаю, что мне делать: втереться в доверие червонной супруги, пусть эта гусыня верит в мою бескорыстную дружбу. Тем легче будет нам обеим разделаться с общей соперницей. Добьюсь ли я своей цели? Увы! Оказалось, что Король равнодушен ко всем нам, его пассия – смазливый Валет Треф.

Утро близится, время ложиться... Я, конечно, романтизирую карточную игру. Карты шлёпаются на стол. Но не игрок играет в карты, вот в чём дело, – не игрок, а карты распоряжаются, карты играют игроками. Карты живут своей тайной жизнью, одержимы своими страстями и пользуются игроками в своих целях. Пусть картёжник верит в счастливый случай, пусть клянёт невезенье, – на самом деле это их, это *наше* решение. Мы – его судьба. А то, что называется случаем, – всё равно что крап, оборотная сторона.

Когда-нибудь, если буду жив, я раскрою эту тетрадь, вспомню мои долгие бдения, игру с самим собой, и как они решили мою участь, как заставили меня проиграться. Это из-за них я лишился моей жены. Вряд ли когда мне удастся привести в порядок мои записки, но тот, кому они попадутся на глаза, узнает, по крайней мере, кто я такой. Ведь меня принимают Бог знает за кого.

Я предпочитаю ни с кем не встречаться. Знаю, что обо мне рассказывают всякое. Что я тронулся, сидя взаперти, – с чем я вполне согласен, надо только встать на точку зрения этих людей. Для них я в самом деле помешанный. Или что я будто бы тайком постригся в монахи, дал обет молчания. Какой обет, откуда им известны такие выражения? Слыхали ли они когда-

нибудь о молчальниках, об исихастах, об «умной молитве» Григория Паламы? За многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь хотя бы перекрестился... Если я мало с кем разговариваю, то не потому, что лишился дара речи. Просто не считаю нужным обмениваться шаблонными репликами, отвечать на глупые вопросы, задавать самому. Я заранее знаю, что мне ответят.

Пятый час

...не утра, конечно, – в это время я уже собирался лечь. А сейчас на ногах, бодр и свеж, стемнеет – пойду гулять. Сегодня Касьян, – чуть не забыл, что я именинник. Народная этимология связала это имя со словом «косить»: Касьян с косой в руках, как сама смерть. Високосный год считается несчастливым. Было ли моё рождение несчастьем для родителей, для меня самого?

Но, с другой стороны, не так уж плохо появиться на свет 29 февраля, это значит, что мой возраст прибавляется один раз в четыре года. Мой патрон, святой Кассиан, поплатился за чистоплюйство. В наших местах до сих пор рассказывают, как однажды Иисус Христос шёл ненастным осенним днём с двумя святителями, Георгием и Кассианом. Вдруг видят – мужик застрял с возом посреди дороги, надо пособить. Святой Георгий, недолго думая, подвернул портки повыше и полез в грязь. А Касьян стоит на обочине, не желает пачкаться. Двое упёрлись в задок, лошадь дёрнула раз, другой, и вытащили воз. Крестьянин снял шапку, поблагодарил и поехал дальше. Иисус же промолвил: за то, что ты, Егорушка, помог человеку, тебя будут праздновать дважды в году, ты будешь Егорий Вешний и Осенний. А ты, Касьян, поленился, и за это твой день будут отмечать раз в четыре года.

Кажется, он добавил: и год твой будет недобрый.

Итак, ставлю дату. День такой же тёмный, ненастный, вот уже и смеркается. Зажглись огоньки в отделениях – между прочим, моя заслуга. Сам я, однако, предпочитаю мою старую, верную керосиновую лампу. Меня раздражает электрический свет. Кроме того, я хочу быть независимым. Бывает, что зимой буран повалит столбы; жди, пока приедет трактор, пока починят линию; а у меня покойно, уютно, я сижу в своём убежище, в тускло-таинственном сиянии, среди теней, в одиночестве и молчании.

Ближе к полуночи

Насчёт «заслуг»: тут особая история. Дела давно минувших дней (как всё). Мы прибыли по распределению. Брак наш, хоть и недавний, трещал по швам, а тут ещё случился выкидыш; я подозревал, что она забеременела от меня. Сейчас мне совершенно ясно, что сомнения не имели под собой никакой почвы. Но тогда последняя соломинка переломила спину верблюда – жена моя уехала. Несколько времени спустя от неё пришло письмо, она писала, что не мыслит своей жизни в глуши, лучше повеситься; а кроме того, даже если вернуться, она не в силах больше выносить мой характер. Я был полностью с ней согласен, клялся и божился, что прошлое не повторится; никакого ответа. Я не мог отделаться от подозрения, что она сбежала к любовнику. Позже до меня дошёл слух, что моя жена умерла – то ли в родах, то ли от позднего криминального аборта. Выходило, что я был прав: она снова с кем-то сошлась.

Я не запил, что было бы естественно; вместо этого рьяно взялся за хозяйство. Свёл дружбу со Степаном Ивановичем, мастером на все руки; втроём с женой и свояченицей они за неделю отремонтировали амбулаторию. Однажды приехал председатель колхоза – к этому времени успели распространиться слухи о моём врачебном искусстве. Ничего страшного у председателя не оказалось, но он считал, что болен опасной болезнью, и, выписываясь, спросил: сколько я хочу взять за лечение? Я сказал: а вот ты мне лучше проведи электричество. Назавтра – откуда что берётся? – явились рабочие, поставили столбы, подключили к сети. В селе до одиннадцати работает движок, потом всё гаснет, – у меня в отделениях всю ночь горит свет.

На другой день

Сказав, что я ни с кем не общаюсь, я всё же погрешил против истины. К примеру, вышеупомянутый Степан Иванович. Это невысокий жилистый мужик с серыми, всё ещё густыми волосами, серым цветом лица и хрустальным блеском глаз, какой бывает у лёгочных больных. Он приходит, осматривается, я показываю кивком, но он и сам уже понял: чинит проводку (приходится всё же пользоваться электричеством) или поправляет оконную раму. Добыл где-то доски и починил крыльцо. Дом потихоньку разваливается, и если бы не Степан Иванович, я давно лишился бы крова. Таких людей можно встретить только в сельской глуши: чеховский Редька, гоголевский расторопный мужик не в немецких ботфортах.

«Как жизнь молодая, Степан Иваныч?» (Ему 60.)

«Помаленьку».

«Погодка-то, а?»

«Да, погода не жалуется».

Раз в году, а то и дважды, весной и осенью, он хворает. У него начинается лихорадка, температура скачет, проливной пот, кашель с гнойной мокротой. Больной желтеет и худеет. У него, как он говорит, «апсес». Диагноз был поставлен ещё до меня. Следовало бы ехать в город, в те времена уже научились оперировать хронический абсцесс лёгкого. Но он ни куда ехать не хотел. Я был молод и, что называется, на коне, ликвидировал обострение массивными дозами только ещё входившего в употребление пенициллина. С тех пор Степан Иванович свято верит в уколы, каждый год умирает и каждый год воскресает, как Озирис. Почувствовав приближение рецидива, ложится в больницу и сам говорит врачу, что надо делать.

Вечер

Негоже раскладывать пасьянс при электрическом освещении, карты к нему не приучены, куда приятней и достойней – при свечах. И тогда мы оживаем, ошутимей становится наша власть, тогда можешь вчитаться в свою участь, начертанную на наших неподвижных лицах, – тайну, спрятанную в катакомбах грядущего. Мы, получаем указания оттуда, мы, короли, дамы, валеты, – перст Божий.

А может, и демонское наваждение.

К несчастью, свечи вышли из обихода; как уже сказано, я сижу с керосиновой лампой. Древняя лампада из толстого зелёного стекла, должно быть, принадлежавшая земскому врачу, который некогда обитал с семейством в моих хоромах. В своё время я интересовался историей наших мест. Больница была построена уездной земской управой в конце XIX века – в самом деле чеховские времена. Село от нас в двух километрах, мощёную дорогу строили солдаты. По ней однажды проезжал Лев Толстой в гости к какому-то крестьянскому философу.

На чём я остановился... Я хотел написать, что было дальше, после того как я расстался с моей женой. Хозяйственные усовершенствования продолжались. Я затеял строительство водопровода. Медицинское начальство регулярно присылало из города окружные письма, инструкции, приказы по району и прочие доказательства своего существования, я швырял их не читая в ящик письменного стола; после окончания строительства пришло две бумаги: в одной мне выносили выговор за перерасход средств, в другой – благодарность за активную работу.

Возвращаюсь к стройке: в итоге долгих переговоров прибыла из треста «Водоканал» бригада, для деревенских женщин это было волнующим событием. На поляне в виду моего дома появилась строительная площадка, работы затянулись – бурили долго, никак не могли добраться до воды; октябрь наступил, пошли дожди, пока, наконец, я не увидел в окне обляпаный грязью грузовик с трубами. Была воздвигнута водонапорная башня и проведён водопровод в общее отделение, в родильный дом, в детское, в так называемый заразный барак и амбулаторию. Первые времена врачебной практики всегда запоминаются. Вскоре произошёл один случай. Прервусь ненадолго...

Ночь, продолжение

Первое время я ещё спал по ночам; когда меня вызывали, возвращался и засыпал; но оттого ли, что ожидание стука в дверь заставляло меня даже во сне быть настороже, или одиночество усилило во мне те черты характера, на которые пеняла мне моя супруга, нормальный ритм дня и ночи нарушился, – ныне этот так называемый нормальный ритм, напротив, кажется мне ненормальным.

Длинные путанные сны стали преследовать меня, я вскакивал посреди ночи и вперялся в темноту, мне казалось, что лезут в окно, что кто-то караулит в сенях. И в самом деле, стукнули в дверь – раз и другой. Был второй час ночи. На пороге стояла, закутавшись в платок, моя жена. Проморгавшись, придя в себя, я убедился, что это дежурная сестра. Мы побежали по свежевыпавшему снегу к общему корпусу. У крыльца стояла подвода, в приёмном покое сидел на табуретке пожилой мужик – отец или муж, на топчане, под тулупом, в тёплом платке, изпод которого виднелась белая косынка, в валенках с галошами, лежала больная.

Лежал полутруп. Бледно-синюшная, без пульса, с закрытыми глазами и теми особыми чертами лица, которые описаны две тысячи четыреста лет тому назад отцом медицины. Вдвоём с сестрой мы раздели её; платье, рубашка, трусы – всё пропитано кровью, влагалище в тёмно-багровых и свежих алых сгустках. Больную бил озноб. Её везли издалека. Она была в сознании, но не отвечала на вопросы.

Продолжение

И вот я сижу на круглом вращающемся табурете между ногами пациентки, электричества у меня тогда ещё не было. Рядом столик с керосиновой лампой. Сестра подаёт инструменты, санитарка держит вторую лампу. Но мне было темно. Разбудили шофёра, он подогнал к окну операционной урчащую колымагу, и сияние фар залило белые колпаки женщин, забрызганное кровью покрывало и физиономию хирурга с кюреткой в правой руке и щипцами Мюзо в левой. Кровотечение прекратилось, всё ещё живой труп был перенесён в палату, но давление отсутствует, тоны сердца не прослушиваются. Удалось связаться по телефону с городом, выслали машину, мой фургон встретил её на середине пути. Под утро драгоценные ампулы крови для переливания прибыли; слава Богу, всё обошлось. Женщины поразительно живучи – она выкарабкалась.

Я поговорил с мужем, это было похоже на допрос. Вмешательство произвела некая «бабушка», древнейшим способом, то есть вязальной спицей. Взяла за это пятьдесят целковых. Я о ней уже слышал, в сердцах хотел донести на подпольную абортмахершу (случай, впрочем, не остался без огласки), но было не до того. Мужик был мрачен, мне даже показалось – не слишком обрадован благополучным исходом. Он был намного старше Катерины (так зовут, кстати, и мою покойную жену), был свояком председателя, того самого, который вскоре провёл мне в больницу электричество. В отношениях с Катериной что-то очевидным образом не ладилось. Ей за тридцать – по деревенским понятиям, почти старая; детей не было; когда я заметил, что, возможно, и не будет, он сказал: «Так ей и надо!» Я спросил: разве ему не хотелось бы сына? – «А у меня есть». (Очевидно, от первого брака.) Тут, между прочим, выяснилось, что среди женщин, которые вызвались обслуживать рабочих «Водоканала», варили для них, стирали исподнее, была и Катерина. Я уже упоминал о том, что строительство водопровода вызвало оживление среди местного населения, по большей части состоящего из женщин. Кстати замечу, что надо благодарить Бога за то, что в России больше баб, чем мужиков; случись наоборот, всё полетело бы в тартарары.

Проснувшись после полудня

В те времена, как и теперь, я вёл добродетельную жизнь, другими словами, жил бобылём. Санитарки топили печь в моём доме, мне приносили обед из больничной кухни. Я много работал – с утра в отделениях, после обеда амбулаторный приём, мне помогал фельдшер Ростислав Николаевич, мужчина неопределённых лет, рослый, подтянутый, всегда выглядевший в рабочей форме, в закрытом халате с засученными по локоть рукавами, очкастый и безнадежно пьющий. Проживал, как и весь мой персонал, в селе; была у него подруга из бывших наших пациенток; однажды я заглянул к ним. В комнате не было ничего, кроме кровати и единственного стула: всё пропили.

Приходилось мне колесить и по округе: на моём участке числилось 12 тысяч, на самом деле население неуклонно убывало – деревня, как по всей России, мелела.

Как-то раз, возвращаясь к себе, я увидел женщину, сидевшую с узелком на ступеньках крыльца. Она показалась мне знакомой; мы вошли в дом. Она развязала узелок, там были деревенские гостинцы: ватрушки с творогом и завёрнутый в холстинку большой кусок вкусно пахнущего чесноком, свежепросоленного, розоватого сала. Кроме того, толстые шерстяные носки, связанные ею самой.

Я должен был примерить, подойдут ли, прошёлся в носках по комнате. Она молча, ясно, держа руки под большой грудью, смотрела на меня. Тут только я сообразил, что это та самая Катерина, которую привезли ко мне полуживой. Она промолвила:

«Аркадий Семёныч...»

Я взглянул на неё.

«Возьмите меня к себе».

Я нахмурился, воззрился на неё. Опустив голову, она продолжала:

«Не могу я с ним жить. Возьмите меня... Я всё буду делать».

«Вот как, – возразил я, – что же именно?»

Так она осталась в моём доме, и народ кругом всё это принял как нечто почти естественное, а моё сиротское жильё преобразилось. Разумеется, я спал с Катериной; первое время даже, если позволено будет так выразиться, с увлечением; муж не появлялся, вовсе не давал о себе знать; вечера мы проводили вдвоём, лампа горела на столе, я читал или слушал радио, Катерина вязала, чинила бельё. Она по-прежнему говорила мне «вы». Иногда мы играли в подкидного, я проигрывал и сердился. Ещё она умела гадать. И постепенно я постигал таинственную природу карт.

Погуляв

Боюсь, что я совсем отвыкну от сна, – устал, но не решаюсь лечь, боюсь не заснуть. Тупо тасую колоду. Давно уже в моём жилище никого нет. В больнице другие люди; дорогу от нас до села размесили грузовики; что-то творится вокруг, якобы строится, а на самом деле неотвратимо приходит в упадок. В известном смысле это образ того, что происходит в стране, но мне до этого нет никакого дела. В России не одно столетие всё валится, да никак не повалится. Слава Богу, что лес ещё не вырубил. Мой дом – моя крепость. Я знаю, что за мной никто не придёт, никто не посмеет ломиться, разве что почтальон раз в месяц приносит пенсию. На худой конец, когда станет совсем невмоготу, я подожгу свой дом. Сгорит и вся эта разноцветная компания. Держа карту между ладонями, я переворачиваю, убираю руку – так и есть: он. Не могу сказать, что старый пердун, тот, кто сидит за столом, то есть я, – его двойник; скорее, вассал. С годами картон обтрепался, покрылся трещинками, но мы живы, здоровы, мы окружены послушной челядью, семёрками, десятками, и готовы повелевать; меч по-прежнему в руке старого короля, серебряные локоны спускаются волнами из-под короны.

Впрочем, пора объясниться. Не настолько я свихнулся, чтобы не понимать, что это всего лишь картон. Но дело в том, что изображение, однажды выйдя из-под печатного станка, начинает жить собственной жизнью. Это можно почувствовать, когда имеешь с ними дело. Про-

фессионалы-картёжники подтвердят. И, наконец, в этом можно убедиться, если проследить за мимикой, за выражением глаз. Когда старуха подмигнула Германну, вы что думаете, это выдумка? Как бы не так!

Для них, для этих половинок, лишённых нижней части тела, отчего они не могут двигаться и не могут производить потомство, сознание своего «я», и заносчивость, и упорство, и минутный каприз неизбежны, необходимы: такова их натура. Компенсация увечья! Так что пусть никто не сомневается насчёт моих умственных способностей и психического здоровья. Во всяком случае, *у них* таких сомнений нет.

Я им сочувствую. То, что они не в состоянии соединиться, мучительно-неутолимое влечение дамы к королю, короля к красавчику-валету, невозможность обладания – разжигает их фантазию, заставляет предаваться бесплодному и безвыходному мозговому сладострастию. И они знают, эти нарисованные чудовища, что здесь исток их чувствительности к красоте. А что же касается нас, кто их тасует, и добывает из колоды, и швыряет на стол, – зависть к игрокам, зависть карт к тем, кто свободно совокупляется со своими женщинами, – истинная причина их мстительности.

Такова моя философия карт. Усталый и умиротворённый, я с трудом встаю, иду спать.

Сколько-то времени спустя

Не выспался и вообще сбился с панталыку. Уселся было за пасьянс, моё обычное лекарство, – опять не ладится. В чём дело? Сменив колоду, я по рассеянности сунул туда лишние карты: выскочили две дамы Треф. Обе сразу – но ведь это тоже должно что-то означать.

Я позвал к себе старого приятеля Степана Ивановича. Тот совсем состарился, согнулся – тёмный, страшный; краше в гроб кладут. Предложил ему рюмочку-другую. Потом стали пить чай. Мне всё никак не удавалось приступить к своему поручению.

«Ну, как жизнь молодая», – сказал я уныло.

«Да никак».

«Неплохо выглядишь».

«Да уж куда лучше».

«Ничего, мы ещё поживём».

«Поживём, да... – проговорил он. – Больницу-то закрывают».

Как это так закрывают – я был слегка ошарашен. Кто это ему сказал?

«Говорят, народу нет».

Куда ж народ-то девался, спросил я, хотя прекрасно понимал, в чём дело. К этому шло. Пациентов и в моё время становилось всё меньше, теперь в иных деревнях осталось две-три старухи, дома заколочены, а то и вовсе торчат одни закопченные печные трубы; избы разобраны и свезены в город. И всё же новость была неожиданной, я всё надеялся, что на мой век хватит. Спрашиваю себя, куда же я денусь.

«Самые, можно сказать, исконные места. Скоро вовсе никого не останется», – сказал Степан Иванович.

«Что же будет с больницей?»

«А ничего. Сгниёт и повалится. И всё так. Строили, строили...»

Махнул рукой:

«Нечего тут больше делать. Земли много – продадим на́хер американцам али китайцам. Хоть польза какая будет», – заключил он.

Я кашлянул.

«У меня к тебе просьба, Степан Иваныч...»

Должен сказать, что я всегда относился с недоверием к так называемой народной медицине. Всё что было в ней ценного давно уже использовано, выделены действующие начала, противопоставлять лечение «травами» научной фармакологии глупо. Но сейчас мне пришлось

вспомнить о Старухе. Не зря я пишу это слово с большой буквы. Забыл, как её звали, а может, и не знал. Некогда она вручила мне склянку с бурой жидкостью. Так сказать, последний дар моей Изоры.

Три капли, сказала она, не больше; пять капель выпьешь, увидишь небо в рогожку, а десять – помрёшь. Кажется, я догадывался, что это такое; во всяком случае, убедился, что лучшего снотворного для меня не найдётся. Больше того – лучшего средства восстановить душевное равновесие. Бабусе и тогда было много лет; почему-то я был уверен, что она жива. Я написал несколько слов, сложил записку вчетверо.

«Пошлешь внука, – сказал я Степану Ивановичу. – Да смотри, чтобы сам он не притрагивался».

Я решил как следует выспаться и не стал дожидаться ночи, на исходе седьмого часа накапал в кружку с водой. Семь – священное число, да и карта, которую я вытянул наугад из колоды, оказалась семёркой. Сперва заснул крепко, но потом стало сниться. Будто бы, наскучив валяться, я решил пройтись. Ночь ясная, звёздная, поднимая голову от подушки, я вижу над тёмным лесом слегка наклонённый Ковш, но никакой подушки, разумеется, нет, я шагаю, ёжась от ночной прохлады, мимо отделений моей больницы, где я как будто всё ещё работаю. Выхожу на дорогу, сворачиваю в сторону, углубляюсь в чащу. И с удивлением замечаю вдали мерцающий огонёк.

Сон повторился раз и два. Это начало меня раздражать, я хотел ещё выпить капелек, присланных Старухой, но как назло успел выкинуть склянку. Всё же было любопытно узнать, в чём дело, кто там разжёт костёр. Не хватает только лесного пожара. Эта мысль заставила меня вскочить с постели, я оделся и вышел. Всё то же самое: корпуса больницы, звёзды Большой Медведицы и смутно белеющий над головой Млечный Путь. В чаще леса огонь.

Я давно потерял тропинку, исцарапался, продираясь через подлесок, временами приходилось идти в обход, огонёк оставался единственным ориентиром, то приближался, то еле светился вдали. Надо бы вернуться, но я потерял дорогу назад, небо заволочилось; если пойдёт дождь, огонь погаснет, я окажусь посреди тёмного леса. Выбрался, наконец, на поляну. Костёр догорал, и никого вокруг. Я осторожно постучал в окошко – это был дом лесника. Взошёл на крыльцо. Щёлкнула задвижка, в тёмных сенях на полу косо лежала полоска света, я потянул к себе приоткрытую дверь. Опрятная, уютная деревенская горница, на столе трёхсвечник, на полу чистые половики, в красном углу темно поблескивающие иконы. И здесь тоже никого. Путник тяжело опустился на скамью.

В изодранной одежде, без шапки – потерял в лесу, – с повисшей головой, гость готов был поверить, что грезит; услышав шорох, встрепенулся: к столу, мягко ступая в толстых носках, с двумя тарелками в руках приближалась Катерина. Узкие гранёные рюмки, искрящийся графин с жёлтой, настоящей на лимоне водкой, сало тонкими ломтиками, студень с похожей на изморозь корочкой жира, ровно и важно горящие свечи в серебряном подсвечнике.

«Мне нельзя», – сказал я.

Она вопросительно взглянула на меня, держа графин над моей рюмкой.

«Я выпил эти чёртовы капли. Старуха сказала, ничего спиртного...»

Катя покачала головой, пожала плечами. Мы сидели под углом друг к другу. Я видел её широкое лицо, спокойные серые глаза, тёмно-ореховые волосы, пухлую шею, большую грудь.

Она пробормотала:

«Ничего, не повредит. Ну... со свиданьем, что ли...»

После первой рюмки мне стало тепло, я смотрел на мою подругу и не мог наглядеться.

Она снова наполнила мою рюмку.

«А ты?» – спросил я.

«Мне хватит. Да и тебе больше не надо».

«Да ладно, – я махнул рукой, – семь бед, один ответ!»

Она строго взглянула на меня. «Будешь много пить – не сможешь».

«Что не смогу?»

«Сам знаешь».

«Катя, – сказал я, смеясь. – Ведь я старик».

«Ну и что?».

Я вспомнил про костёр в лесу.

«Это я разожгла. Чтобы ты не заблудился».

«Да, – проговорил я, обвёл слезящимися глазами посуду, лепестки огня, – я ведь и вправду чуть не заблудился...». И мы оба умолкли, мне казалось, она задумалась о чём-то.

Я сказал ей, что она удивительно похожа на мою жену. А кто же я, по-твоему, был ответ, я и есть твоя жена. Так-то оно так, пролепетал я, вот и две трефовых дамы тоже... или они у вас называются крести? Это всё капли, объяснил я и вдруг вспомнил: а как же криминальный аборт?

«Я не хотела тебе говорить. И просить тебя не хотела, ведь аборты запрещены. Решила самой выпутываться».

Я чуть не крикнул: да ведь это я, я тебя вытащил! Тебя полумёртвую привезли. Мне было тёмно, я велел подогнать к окнам машину. Разве я спорю, сказала она.

«Говорю тебе, решила сама. Я тебя знаю. С твоей вечной ревностью Ты ведь стал бы меня мучить. Дескать, не от тебя забеременела».

«Конечно, не от меня. От одного из этих мужиков водопроводных».

Мне снова хотелось возразить – и вообще: как всё это согласовать?.. Не отвечая, не споря со мной, знакомым движением сложив руки под грудью, она спокойно смотрела на меня с таким видом, точно всё это уже не имеет значения. Кто старое помянет... Завязав волосы узлом, в одной рубашке, она налила из кувшина горячую воду в корыто, разбавила холодной из другого кувшина. Помогла мне раздеться.

«Ишь, весь в смоле перепачкался... Завтра протопим баньку, а сейчас обмоемся, не лезть же таким в постель...»

Я хотел ей сказать, что вот так же, в корыте на двух табуретках меня купали в детстве. Ну, ну, бормотала она, держа наготове намыленную мочалку в голой руке, кого стесняешься. Расставь ноги пошире...

Высокая белая кровать с откинутым одеялом ждала.

Книга вторая Из вещества того же

De solo Amore (Только о любви) *Романтический рассказ*

В старинном русско-татарском селе Красный Бор на Каме, году примерно в 42-м в разгар войны, в четвёртом или пятом классе средней школы был устроен вечер вопросов и ответов. Я воспользовался случаем и задал волнующий меня вопрос: существует ли электрическая связь между планетами? Другой вопрос задала одна девочка. Она спросила: почему в книжках всегда говорится про любовь?

Последовали компетентные ответы учителей. Физик Василий Егорович, эвакуированный из осаждённого Ленинграда, пожилой человек, обыкновенно дремавший на своих уроках, чем беспардонно злоупотребляли ученики, отпрашиваясь под разными предлогами из класса, пробормотал что-то маловразумительное. Второй ответ был обстоятельней. Учительница биологии, она же классный руководитель и завуч, долго говорила о любви и дружбе, о том, что второе важнее первого. Но в чём, собственно, заключается любовь, и отчего писатели так много внимания уделяют теме любви, не объяснила. Спустя годы я думаю, что девочка сама разбиралась в этих материях, и не хуже. Разбираюсь ли в них я?

Теперь я тоже пишу книги – в том числе о любви. Некогда меня обуревали такие темы, как тюрьма, лагерь, доносы, глухая секретность происходящего в стране: казалось, только об этом и можно писать. Только у нас, думал я, писатель располагает огромным, материалом столь жгучих, никем нетронутых, тем. А о чём писать литераторам, живущим в благополучных странах?

Франсуа Мориак, обязанный своей популярностью талантливым переводчикам, расходует свой дар на обсасывание мелких семейных неурядиц, – как видно, больше заняться нечем.

Сколько-то времени спустя мои литературные амбиции определились. Я, что называется, нашёл топор под лавкой. Этот топор был другой реальностью. Новая для того времени, и, может стать, самая важная, тематика поработила меня. Я написал свои первые лагерные вещи. До следующего поворота.

Однажды случилось... Окончив медицинскую аспирантуру, со своим бесполезным кандидатским дипломом – евреев никуда не брали, – я обивал пороги научных институтов в поисках работы, – а сам потихоньку сочинял мой первый роман с евангельским названием «Я Воскресение и Жизнь», о ребёнке без матери, у которого папа женится на чужой женщине. Как-то раз, когда я возвращался, как всегда, не солоно хлебавши домой, мне внезапно представилась головокружительная сцена. Мальчик, ему четыре года, встаёт ночью, разбуженный звуками в спальне взрослых, и видит в кровати, под одеялом, мачеху, которая давит и душит отца, хочет его умертвить, а он, беззащитный, лежит навзничь, как неживой. И с громким плачем ребёнок бежит прочь. Женщина в длинной ночной рубашке утешает его, прижимая к груди, говорит, что это так нужно, от этого у него будет сестричка, да и сам он родился по той же причине, потому что это – любовь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.